

18+

НИКОЛАЙ МОЛЧАНЕНКО

ЗАПИСКИ НЕВОЛЬНИКА

Дневники из преисподней



Николай Молчаненко

**Записки невольника.
Дневники из преисподней**

«Издательские решения»

Молчаненко Н. Л.

Записки невольника. Дневники из преисподней /
Н. Л. Молчаненко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-651318-1

Это проникновенная история о выживании, дружбе и человеческой стойкости в мрачные годы Второй мировой войны. Через записи молодого узника трудового лагеря раскрываются ужасы принудительного труда, но вместе с тем — сила духа и непоколебимая вера в жизнь. Общение с друзьями полное юмора, надежды и взаимной помощи, становится ярким светом на фоне лагерных страданий. Эти дневники мощное свидетельство того, что даже в самых тёмных временах человек способен сохранить человечность.

ISBN 978-5-00-651318-1

© Молчаненко Н. Л.
© Издательские решения

Содержание

От издателя	6
Этапом в Германию	8
ВОЙНА	9
Саарбрюккен – ворота в ад	14
Янсон – комендант лагеря	16
Наша пища – гиздопар	21
Сигизмунд «Зима» Кишкин	29
Миша «Кардинал» Трофимов	30
Володя «Арамис» Чекаловец	31
Жора «Атос» Белецкий	33
Павлик «Портос» Домбровский	34
Мои друзья-«мушкетёры»	36
Выжить в преисподней	37
Фашист Карл Людт – мой дорогой друг	39
Концлагерь	53
Любоход	58
Трещины в монолите	64
Будни невольника	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Записки невольника Дневники из преисподней

Николай Леонидович Молчаненко

Александр *Луценко*, непосредственному участнику
описываемых в этой книге событий — *посвящается*.

Корректор Владимир Шкиряк
Корректор Вячеслав Васильев
Корректор Ирина Молчаненко
Дизайнер обложки Мария Фролова

© Николай Леонидович Молчаненко, 2025

© Мария Фролова, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-1318-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Откройте для себя захватывающую РЕАЛЬНУЮ человеческую историю выживания, стойкости и несгибаемого духа товарищества в один из самых тёмных периодов истории.

«Записки невольника» рассказывают о страшных испытаниях, выпавших на долю рабочих, высланных в нацистскую Германию, через интимную призму взглядов молодого узника. Среди жестокости трудового лагеря, где царят голод и страх, герой находит силу в неожиданных местах: в тихом мужестве друзей. Вместе они создают узы, которые превосходят мрачные пределы их заключения, даря моменты надежды, юмора и сопротивления.

Рассказанный с неподдельной честностью и лирической красотой, этот глубоко личный нарратив раскрывает не только ужасы принудительного труда, но и силу дружбы, памяти и человеческой воли к выживанию. Трогательные размышления автора, основанные на их собственном опыте, придают этой истории уникальную подлинность и значимость.

«Записки невольника» – это больше, чем мемуары; это свидетельство стойкости человеческого духа и напоминание о том, что даже в самые тёмные времена свет можно найти в связях, которые мы создаём друг с другом.

Идеально для читателей, которые интересуются:

- историческими мемуарами о Второй мировой войне,
- историями о стойкости и силе человеческого духа,
- личными рассказами о храбрости и дружбе в условиях невзгод.

Почему читатели полюбят эту книгу:

- Захватывающее и глубоко эмоциональное повествование.
- Яркие описания жизни в трудовых лагерях.
- Уникальный взгляд на выживание через призму дружбы и солидарности.

Это история о боли и надежде, которая останется с вами надолго после последней страницы.

От издателя

*Рукописи не горят.
М. А. Булгаков.*

Дорогие читатели!

Дневники, которые я держу в руках, были переданы мне десятки лет назад их автором Александром Луценко. Он надеялся, что когда-нибудь они будут изданы и обретут читателей. Я постарался оправдать его надежды. Позволил себе лишь незначительно переработать рукопись: слегка изменил некоторые имена и события, но сохранил основную канву повествования.

Долгое время после Второй войны теме принудительного труда при нацистах уделялось мало внимания. Прежде всего, слишком мало известно о точке зрения на случившееся и опыте самих жертв. Во многих семьях об этом говорят мало – либо из чувства стыда, либо по другим причинам. Тем более считаю важным обращение к теме принудительного труда.

Разумеется, главный герой, Александр, не мог знать всего, что происходило на фронтах и в мире в те дни, когда записывал свои переживания. Поэтому я счёл необходимым дополнить его дневники историческим контекстом, хотя и весьма ограниченным, почерпнутым из архивов и энциклопедий интернета. Эта информация выделена курсивом.

Итак, перед вами дневники, отражающие реальные события, записанные их непосредственным участником, Александром Луценко, – юношей из оккупированного украинского города Харькова, который волею судьбы оказался в гитлеровской Германии в период с 1942 по 1945 год. Основные события происходят в трудовом лагере при металлургическом заводе в городе Саарбрюккен на юго-западе Германии и его окрестностях. Важно подчеркнуть, что этот лагерь не был концентрационным лагерем, который занимал следующую ступень в иерархии репрессий, направленных на подавление населения как оккупированных стран, так и самой нацистской Германии. Условия их существования были поистине невыносимыми: каторжный труд на заводе, полуголодное пребывание в бараках за колючей проволокой под надзором надсмотрщиков, готовых применять насилие по любому поводу и даже без него.

На первый взгляд может показаться, что невольники в лагере не совершили ничего героического: не было ни дерзких диверсий, ни вооружённых вылазок, ни уничтожения оккупантов в яростных перестрелках. Люди страдали от голода, гибли от непосильной работы и болезней. Но, несмотря на это, они продолжали бороться – не оружием, а силой духа, сохраняя человеческое достоинство, продолжая верить в победу и любить.

Н. М.

«Наш руководящий принцип должен заключаться в том, что эти народы имеют одно-единственное оправдание своего существования – быть полезными для нас в экономическом отношении».

*Фюрер Германии
Адольф Гитлер.*

«Все рабочие должны получать такую пищу и такое жильё и подвергаться такому обращению, которые давали бы возможность эксплуатировать их в самой высокой степени при самых минимальных затратах».

*Из инструкции генерального уполномоченного по использованию рабочей силы
Фрица Заукеля.*

Этапом в Германию

24 марта 1942 года — 15 сентября 1942 года

Я – один из тех, кого война вырвала из родного Харькова и отправила в Германию. Более ста пятидесяти тысяч моих земляков были угнаны на чужбину, превращены в рабов. Мне было девятнадцать лет тогда, когда это случилось со мной.

Отец не жил с нами, и мать одна тянула на себе все заботы о нашем небольшом хозяйстве. Она работала кухаркой в детских яслях, и мы никогда не имели собственного жилья. Комнаты, углы в коммунальных квартирах – таков был наш быт. Помню, как в детстве мы с матерью часто спали «валетом» на одной кровати.

Учёба всегда давалась мне легко, и я с удовольствием погружался в мир книг и знаний. Из книг больше всего на меня произвёл впечатление роман Александра Дюма *Три мушкетёра* и его отважные герои. И, конечно, я видел себя д'Артаньяном – моим самым любимым героем. С этой книгой я никогда не расставался.

Среда, в которой я рос, естественно, наложила на меня свой отпечаток. Как и многие мои сверстники, я был атеистом и искренне верил в светлое будущее, которое обещал коммунизм. Школьные кружки, спортивные секции, и, особенно, радиокружок были важной частью моей жизни. После окончания школы я начал работать на тракторном заводе, и наше материальное положение стало постепенно улучшаться.

ВОЙНА

22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Немецко-фашистские войска вторглись в пределы страны на глубину от 850 до 1200 км. Территория, занятая врагом, превышала 1,5 млн кв. км. На ней перед войной проживало 74,5 млн человек. Основные силы советского Западного фронта летом 1941 года оказались в окружении и были разгромлены, большей частью попали в плен. 28 июня немецкие войска взяли Минск, 19 сентября советские войска сдали противнику город Киев, а 24 октября 1941 года – Харьков. В сентябре 1941 года немецкие войска подошли к Ленинграду и окружили город, начав 900-дневную блокаду. В 1941 году в плен попало 3 800 000 советских военнослужащих, 2 000 000 из них погибли до 1 февраля 1942 года. За время войны в плену оказалось около 5 600 000 военных, вернулось из плена 1 800 000 человек. С 1941 по 1944 годы на работу в Германию из Советского Союза было угнано более 5 300 000 человек (включая военных и гражданских лиц), вернулось около 2 700 000. Около 1 500 000 остались по разным причинам за границей.

Все остальные – умерли.

Всё это теперь кажется далёким, словно из другого времени, но именно те годы и книги сформировали мои мечты и стремления, дали мне силы выжить, несмотря на испытания, которые обрушились на нашу страну и на меня.

27 марта 1942 года. Мец, оккупированная Франция

Полдень. Нас, шестьдесят восемь харьковчан, только что привезли в распределительный лагерь в Мече. Мы толпились на задворках железнодорожного вокзала под навесом. Перед нами возвышался большой, старый ангар с огромными дверями и окнами под самой крышей. Рядом стояла наскоро сколоченная уборная. Вокруг валялись пустые консервные банки с французскими этикетками и изношенные деревянные башмаки – «сабо».

В голове от голода и неизвестности роятся странные мысли. Вот, например, «сабо» – я точно помню, как Мопассан что-то упоминал о них. Странно, как мозг цепляется за такие мелочи, пытаюсь отвлечься. Но мысли о башмаках никак не могли заглушить жжение в животе.

Неожиданно пригнали машину с колючей проволокой и приказали ставить забор. Обещали сигареты, если успеем к сроку. Мы сами себя загоняли в этот колючий кокон, словно шелкопряды, опутывая пространство вокруг. За нашей работой наблюдал большой грузный мужчина в костюме, вероятно, комендант лагеря. Он стоял неподалёку и ухмылялся, его пустые глаза внимательно следили за каждым нашим движением.

Когда забор был готов, нас загнали в ангар. Мы разбросали солому вдоль стен – крыша в центре была дырявая. Посреди ангара стояла большая металлическая печь – символ нашего рабства, место, где нам предстояло коротать ночи. Иногда голод сводил живот судорогами, боль была нестерпимой. Во рту пересохло, губы трескались.

Один из наших, высокий худощавый парень по имени Сигизмунд, немного понимал по-немецки, и немцы сделали его переводчиком. Он спросил начальника лагеря, когда нас накормят. Тот лишь ухмыльнулся и сказал: «Скоро привезут чай. Я слышал, русские любят чай». Очевидно, насмеялся.

С одной стороны лагеря – железная дорога, с другой – пустынная улица. За забором, напротив ангара, я увидел дом. На подоконнике второго этажа лежал румяный батон хлеба. Его вид словно гипнотизировал нас, мы смотрели на него, как зачарованные. Вид хлеба только усиливал нашу боль. Как можно так издеваться, выставять его напоказ перед голодными людьми?

Наконец, сегодня к вечеру привезли гнилую брюкву и кофе-эрзац. Брюква, похожая на свёклу, пахла так отвратительно, что есть её было невозможно, хотя многие из наших ждали

с нетерпением, когда она сварится. Печально, но даже этот жалкий запах варящейся гнили разжигал в желудке аппетит. Я не смог есть – от одного вида и запаха меня тошнило.

Я отдал свою порцию Мише, тому самому, кто когда-то на пути сюда спас меня от мороза. Кофе-заменитель я всё-таки выпил, хотя он, скорее всего, был сделан из опилок. Когда я сделал глоток, Миша подошёл и незаметно сунул мне в руку маленький кусочек сахара.

В конце дня дверь ангара закрыли на засов и повесили замок. Сидим, как скот. Боятся нас, что ли?

Сiju у стены, на соломе, здесь хотя бы тепло. И трудно поверить, что всего пару недель назад, 15 марта, в Харькове стоял сорокаградусный мороз, и нас грузили в товарные вагоны. Всё это воспринимается как кошмар, из которого невозможно проснуться. Мы – невольники, рабы. Эти слова звучат в голове, как приговор. И самое тяжёлое – осознание того, что никто не придёт на помощь и это, может быть, навсегда.

Когда немцы вошли в Харьков, заводы уже были либо эвакуированы, либо разрушены. Работы не было. Единственный способ получить работу – через биржу труда. Многие шли туда добровольно, в надежде найти работу хотя бы в других городах не только оккупированной Украины, но и Германии. Но слухи о жестокости к украинцам в Германии быстро разлетелись, и поток добровольцев иссяк.

Немцы начали прибегать к массовому силовому захвату людей, часто используя как подходящий предлог для акций депортации массовые скопления людей, пришедших на церковные службы или на спортивные соревнования. Целые толпы людей под прицелами автоматов или к грузовикам, которые доставляли их к формирующимся эшелонам, увозящим их в Третий рейх, в том в чём они были застигнуты облавой.

Первая повестка пришла с угрозой: «За неявку – расстрел». Угроза была реальной – в оккупированном Харькове мы видели достаточно расстрелянных и повешенных тел.

Утром на второй день оккупации я увидел повешенного мужчину на нашей улице. Он висел на тонкой ветке молодого деревца. Его ботинки касались земли, руки были связаны, а на груди висела картонка: «Я партизан». Позже виселиц стало ещё больше, особенно в районе Сумской улицы и у Благовещенского базара. Много людей казнили после взрыва на улице Дзержинского, где погиб важный немецкий генерал.

14 ноября командир 68-й стрелковой дивизии генерал Георг фон Браун и многие другие старшие немецкие офицеры погибли под развалинами от взрыва радиоуправляемой мины, приведённой в действие за 300 километров от Харькова. В отместку за взрыв немцы повесили пятьдесят и расстреляли двести заложников-харьковчан.

В городе появились люди с жёлтыми повязками – евреев обязали их носить. Но постепенно они стали пропадать с улиц. А потом поползли страшные слухи о Дробицком яре.

22 ноября евреев обязали носить желтую отличительную повязку и переселиться в гетто в районе Харьковского тракторного завода. С 10 по 17 января 1942 года около 22000 жителей гетто массово расстреляли в Дробицком яру.

Вторая повестка предписывала явиться с вещами и едой на двое суток. Мы с мамой собрали небольшой чемоданчик с провизией и тёплыми вещами. Я не забыл уложить свою любимую книгу – «Три мушкетёра».

Люди подходили группами и исчезали за массивными стенами краснокирпичного здания у Южного вокзала. Это место обросло мрачными слухами:ходишь туда по повестке – и уже

не выходишь. Мы понимали, что эта дорога ведёт в Германию, и, возможно, она станет дорогой в никуда. Отныне мы все, попавшие сюда, получали общее имя и назначение – остарбайтеры.

Остарбайтер (Ostarbeiter – «работник с Востока») – определение, принятое в Третьем Рейхе для обозначения людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы. Все они обязаны были носить прямоугольник с буквами «OST» на верхней одежде. Знак «OST» служил для выделения «восточных рабочих» среди других категорий рабочих. Немецкие власти рассматривали остарбайтеров как людей второго сорта, и этот знак подчеркивал их особый статус. Рабочие с этим знаком подвергались более жесткому контролю и дискриминации со стороны немцев. Их свобода передвижения была ограничена, и за нарушение правил, связанных с ношением знака, следовали суровые наказания. Украинцы составляли основную часть остарбайтеров (их доля на различных предприятиях составляла от 2/3 до 3/4 и около 2,2 млн. человек в общем объёме остарбайтеров), среди которых также было много белорусов, русских и поляков.

Национальность имела серьёзное значение при отборе девушек: в помощь немецким домохозяйкам лучшие всего подходили украинки. Работа остарбайтеров была признана крайне продуктивной и выгодной. Производительность мужчины-остарбайтера приравнивалась к 60—80% производительности немецкого работника, производительность женщины достигала 90—100% немецкого «эквивалента». Официальные документы Рейха содержат информацию о том, что на конец лета 1944 года на работы на территорию «Великого германского рейха» силой были увезены 7 млн 600 тысяч гражданских лиц и военнопленных из Восточной Европы. Таким образом, остарбайтеры составляли приблизительно четверть всей экономической и производительной мощности Германии того времени.

Забор был такой, что мы могли перекидываться словами с прохожими. Одна женщина согласилась передать записку маме. Я наспех написал её прямо на повестке, которая грозила страшными словами: «За неявку или побег – расстрел всей семьи». Вечером мама пришла. Прощаться было тяжело, будто бы в этот момент рушился весь мир, и его обломки падали на нас.

Ночью нас подняли и погнали к трамвайной станции. Держали долго, на леденящем морозе, пересчитывали раз за разом. Оказалось, кого-то не хватало. Солдаты обыскали двор, нашли тех, кто пытался спрятаться, избили их, и всех нас погнали дальше. Мороз был беспощаден, казалось, он сам был союзником немцев. По обе стороны колонны солдаты стояли с винтовками и фонариками, их тени играли на снегу, словно призраки.

Нас заталкивали в вагоны – как скот. Палками и лаем собак подгоняли тех, кто не успевал. Внутри вагона царила тьма, холод был такой, что казалось, даже сам воздух замерзал. Кое-как разожгли печку, но от неё исходило мало тепла, и добраться к ней было почти невозможно – вокруг неё все сидели плотно, как в осаде. На расстоянии нескольких шагов от печки холод становился таким же, как снаружи.

Когда поезд тронулся, отрывая нас от родных земель, я почувствовал, как нечто важное и дорогое исчезает навсегда. Словно со мной расстаются воспоминания о детстве, о матери, об утраченном покое. Всё, что было раньше – школа, книги, мечты о будущем – осталось за пределами этих холодных стен вагона. Впереди была лишь неизвестность и тревога, которую невозможно подавить.

Я смотрел в маленькое окошко, за которым мелькали тёмные силуэты ночных деревьев, и чувствовал, как с каждым километром меняются мои мечты, мои убеждения. Я больше не был тем юношей, мечтавшим о славных подвигах д'Артаньяна и светлом будущем. Теперь я понимал, что сила и мужество потребуются не для героических дел, а для того, чтобы выжить, чтобы остаться собой, несмотря на всё, что нас ожидало впереди.

И в тот момент, глядя в ночь, я поклялся себе – остаться живым и помнить. Помнить всё, что будет происходить со мной, с другими. Ведь эта память – единственное, что у нас осталось.

В тусклом свете я, должно быть, выглядел настолько жалко, что один крепкий мужчина, сидевший у печки, сжалился надо мной и усадил рядом. Его звали Миша, и он сразу выделился своей уверенностью и какой-то тихой, непоколебимой надёжностью.

– Как тебя зовут? – спросил он меня.

– Шурик, дядя Миша, – промямлил я.

– Значит так: Шуриком ты был у мамы с папой. Теперь будешь Сашка. Слушай меня: нужно быть смелым, ничего не бойся. Буду помогать, но не липни. И потом: не называй меня дядей. Тебе сколько лет? Ну, так я всего на пять лет старше тебя, зови как все – Миша! Понял?

Я кивнул, чувствуя, как в груди вспыхивает что-то вроде надежды. Ответить я не мог – ком в горле застрял от неожиданного внимания ко мне в таких тяжёлых обстоятельствах. Я не привык, чтобы кто-то вот так заботился, особенно здесь, где каждый сам за себя. К полуночи я наконец отогрелся и почувствовал, как жизнь медленно возвращается ко мне. Тело больше не дрожало от холода, а голова стала немного яснее. Миша молчал, но его присутствие рядом вселяло ощущение, что я не один, и это придавало сил.

Когда поезд набрал скорость, выяснилось, что труба от печки была повернута против хода, и вместо тепла в вагон врвался ледяной воздух с дымом. Мы попытались исправить это, но до конца так и не получилось.

Утром, когда рассвело, эшелон внезапно остановился. Снаружи раздавались крики, и вскоре двери вагона распахнулись. Мы стояли посреди бескрайней белой пустыни – словно оказались в Клондайке из книг Джека Лондона. Немецкий солдат закричал: «Aufstehen! Alle aufstehen! Schneller, Schneller!» – и стало ясно, что не все пережили эту ночь. Шестеро из нашего вагона замёрзли насмерть. Я понял, что, если бы не Миша, я, возможно, тоже был бы среди них. Пока трупы выносили, Иван Мельник, самый ловкий из нас, успел залезть на вагон и повернуть трубу от печки. Он рассказывал потом, что у каждого вагона лежало по несколько замерзших тел.

Нас снова загнали в вагоны, задвинули двери, и поезд двинулся дальше. Голод и жажда теперь стали нашими постоянными спутниками, и мы корили себя за то, что не догадались набрать снега во время короткой остановки. Но кто бы мог подумать о еде, когда вокруг смерть.

День сменялся ночью, но нас всё везли и везли. Мы боялись уснуть, опасаясь замёрзнуть насмерть, поэтому будили тех, кто засыпал, сидя на полу. Ложиться спать было страшно. К счастью, через какое-то время мороз стал слабее, и на утро эшелон снова остановился в пустом поле. Вагоны открывали по одному, выпуская нас на несколько минут под присмотром охранников. Нужно было успеть сделать всё, что требуется, на этом крохотном, огороженном пространстве.

Кто-то нашёл под снегом груды свеклы, но она была замёрзшей, и лишь немногим удалось отколоть кусочек. Нас снова запихнули в вагоны, задвинули двери, и поезд двинулся на запад. Мы читали названия станций через щели – родные места, теперь обозначенные на немецком языке. Всё, что было нашим, постепенно становилось их.

С каждым километром становилось теплее. Мы въехали на территорию Польши, и в Люблине нас загнали в лагерь за колючую проволоку. К полудню неожиданно потеплело, и холод, который казался вечным, отступил. Но голод, как злой зверь, продолжал изматывать. Я словно тупел от этого – не мог вспомнить, когда в последний раз ел. К проволоке подходили поляки и предлагали нам сигареты и муку в обмен на одежду. Плохую одежду не брали, а хорошей у нас и не было. Солдаты периодически разгоняли тех, кто пытался что-то предложить.

К концу дня нас повели в город, в баню. Холодная вода – какая уж тут баня... Одежду забрали на дезинфекцию, а когда вернули, она была сырая и пахла странно. В темноте нас

погнали обратно. Ничего не было видно, я шёл, держась за плечо соседа. Он говорил, что видно всё, а у меня, наверное, была «куриная слепота».

Наконец, нас выстроили в очередь и дали по кусочку хлеба с какой-то жижей, похожей на повидло, но на вкус совсем не сладкой.

Дальше нас повезли в немецких пассажирских вагонах, с длинной ступенькой вдоль состава и отдельной дверью в каждое купе. Нас запихнули туда, как сельдей в бочку, и у каждой двери поставили охранника. Остановились на большом вокзале. На соседних платформах были люди, которые с любопытством смотрели на нас, как на диковинку. Когда привезли походную кухню, вокруг собралась толпа. Всё было чисто и опрятно, никаких признаков войны.

Эсэсовцы, охранявшие нас, стояли цепочкой, широко расставив ноги, в чёрной форме с черепами и костями на петлицах. Нам наливали немного горохового супа в котелки. Один парень, у которого не было котелка, попросил его у того, кто уже поел. Повар-эсэсовец, решив, что тот подошёл второй раз, сбил его с ног. Подбежали другие эсэсовцы и начали избивать его так, что казалось, они хотели его убить. Парня утащили за ноги, а на земле остался лишь раздавленный котелок. Толпа молча наблюдала за этим.

К вечеру стало ясно, что мы приближаемся к концу пути. Мы уже пересекли границу Франции. Вагоны стали нам привычны, соседи – знакомы. Но будущее пугало своей неизвестностью. Хотелось, чтобы поезд никогда не останавливался. Казалось, что остановка будет означать конец всему. Когда поезд затормозил, моё сердце замерло. Мы приехали на вокзал французского города Мец.

Город Мец (Metz) на северо-востоке Франции. От Саарбрюккена его отделяет менее 60 км. Знаменит собором святого Этьена (Saint-Étienne) и вокзалом Картье Империаль. В годы войны был важным железнодорожным узлом и распределительным пунктом для рабочей силы оккупированной Европы, предназначенной для работы на промышленных предприятиях Германии.

С вокзала нас, под охраной, провели по узкой старинной улице средневекового города. Шаг за шагом мы приближались к огромной стене с массивными металлическими воротами, которые медленно распахнулись перед нами. За воротами нас встретил угрюмый внутренний двор, окружённый серыми, давящими зданиями. Везде были люди – лежали, сидели, бродили по двору – те, кто прибыл сюда раньше. Они уже заняли все возможные помещения, и нам пришлось искать себе место там, где ещё было хоть немного свободного пространства.

Еды нам не давали – чтобы никто не попытался сбежать. Мы все были усталые и голодные до изнеможения. Ту ночь мы провели в сыром и холодном зрительном зале бывшего кинотеатра. Ряды стульев были полуразрушены, ни сесть, ни лечь было невозможно. Проходы и пространство под стульями были забиты телами других людей, таких же измождённых и лишённых сил.

Это место было распределительным лагерем, или Durchgangslager. Сюда приезжали хозяева фабрик, шахт, заводов – они искали рабочую силу. Нас рассортировали и пометили цветными этикетками, прикрепив их к нашей одежде. Наша очередь подошла только на третий день. Из нашей группы отобрали тридцать восемь человек и под охраной увезли в Саарбрюккен.

Саарбрюккен – ворота в ад

1 апреля 1942 года. Саарбрюккен, Германия

Саарбрюккен (Saarbrücken) – крупный индустриальный и транспортный узел в сердце угольного бассейна на юго-западе Германии на реке Саар, на границе с Францией. В этом регионе находились металлургические и угольные предприятия, которые играли ключевую роль в немецкой военной промышленности. Саарбрюккенские заводы производили сталь, необходимую для оружия, военной техники и других нужд армии. Саарбрюккен был важным транспортным узлом, связывающим Германию с другими странами. Через город проходили стратегические железнодорожные пути, которые соединяли Рурскую область, Эльзас и Лотарингию, Францию и другие части Европы.

Сегодня утром нам впервые за много дней дали по маленькому кусочку хлеба. Вчера кто-то осмелился спросить у коменданта лагеря, почему нас не кормят. Тот ответил с ухмылкой: «А у нас такой же принцип, как и у вас: кто не работает, тот не ест». Эти слова будто обожгли своей жестокостью, но они уже не удивляли.

Утром нас погрузили в две грузовые машины и повезли на завод, который находился на другом конце города. Сам город, по сравнению с моим Харьковом, оказался небольшим, но поразительно чистым и ухоженным, словно его бережно убирали каждый день. Тишина и порядок царили повсюду, и казалось, что войны здесь не было вовсе. В то время как Европа тонула в крови, здесь, в этом маленьком городе, было мирное спокойствие.

Нас привезли на сталелитейный завод «Inter-Kirchner & Co», расположенный на южной окраине. Прямо на заводском дворе распределили по участкам. Меня забрал щуплый старик с неприязненным взглядом и маленькими, злобными глазами, которые бегали по сторонам. Он жестами показал на тачку – «Бери». Я послушно взял её и последовал за ним. В двухстах метрах от нас, у железнодорожных путей, лежала огромная куча кокса. Старик снова показал жестом – «Насыпай». Я наполнил тачку и пошёл обратно к топкам сушильных печей, куда он меня направил.

Он снова показал мне, сколько нужно привезти, чтобы можно было отдохнуть, но я не успевал – кокс нужно было подвозить постоянно. Возможно, это даже к лучшему: если бы я останавливался, он бы заставил меня забрасывать кокс в топку.

Пока я возил кокс, ко мне подошёл наш парень и тихо сказал, что в мешках, мимо которых я прохожу, лежит картофельная мука. Вот почему я ощущал съедобный запах, который не мог объяснить! Хотелось попробовать, но я опасался, что мука может быть отравлена. Однако голод был сильнее страха. Я набрал немного муки в кулёк и сунул в карман, решив, что разберусь позже – в лагере всегда есть опытные люди, которые знают, что можно есть.

Позже я узнал, что эта картофельная мука использовалась для изготовления формовочных смесей на литейном производстве, и поэтому её здесь было так много.

Усталость казалась бесконечной, этот день словно не хотел заканчиваться. Когда я загружал тачку, мои мысли уносились далеко – к рельсам, которые через тысячи стыков могли привести меня обратно в Харьков, домой, к маме.

Почему нас разлучили? Горькие слёзы катились по лицу, и я не мог их остановить. Даже пустую тачку стало тяжело везти, а с полной я едва справлялся. Немец несколько раз выбегал ко мне, ругался, и в конце концов дал мне метлу и отправил в цех подметать.

Цех оказался стержневым, и работа была знакома – до оккупации я работал формовщиком на тракторном заводе. Стержни, которые я увидел, явно предназначались для отливки

снарядов. Немец показал, что, когда закончу подметать, могу идти к машинам и возвращаться в лагерь.

Пока я подметал, я заметил за одним станком бумажный свёрток. Оглянулся по сторонам и вдруг увидел худого немца, который прятался за выступом стены и внимательно наблюдал за мной. Он сделал жест, показывая, что в свёртке еда и сигареты, и провёл пальцем по губам, а затем по горлу – предупредил, чтобы я молчал. Я утвердительно кивнул, и он исчез. В тёмном углу я быстро съел бутерброд и закурил сигарету. Тогда я подумал: первый немец – фашист, а этот, возможно, коммунист.

По дороге обратно в лагерь я не мог перестать думать о том, почему именно мне достался этот бутерброд. Может быть, из-за моего жалкого вида? Но ведь таких, как я, здесь много. Впервые я задумался о странных проявлениях судьбы.

Вернувшись в лагерь, мы были вымотаны до предела. Нам раздали порошок щелока для мытья, и на обед-ужин выдали баланду из гнилой брюквы и маленький кусочек хлеба – батон делили на десять человек.

Оказалось, что многие с завода пронесли картофельную муку. Мы растопили печку, и каждый замешивал тесто, лепил лепёшки и прилеплял их к горячей печи. Когда они пропекались, сами отваливались. Все свои лепёшки помечали, чтобы не перепутать. Несмотря на долгий процесс выпекания, аромат наполнил весь барак, а на вкус лепёшки казались невероятно вкусными – после долгого голода любая еда кажется чудом.

И вдруг, в разгар нашей кулинарии, открывается дверь сарая, и на пороге появляется старший надсмотрщик. Он глянул на печку и остолбенел. Несколько мгновений стоял с открытым ртом, а потом неистово закричал: «Dolmetscher!» Это слово мы уже понимали – переводчик. Встал Сигизмунд.

– Скажи этим идиотам, что мы выдали порошок для мытья. Его нельзя есть.

– Герр полицай, это не порошок. Это мука, которую мы поменяли в Польше на вещи.

Надсмотрщик повернулся и ушёл. Ну и дурак, как можно думать, что мы станем есть щелок?

5 апреля 1942 года

Сегодня, когда я вез кокс, ко мне снова подошёл тот немец, что в первый день оставил мне бутерброд. Он быстро сунул в мой карман свёрток и представился: «Карл». Спросил, как меня зовут. Я ответил – Александр. Карл усмехнулся и сказал, что это слишком длинное имя, предложив звать меня Алексом.

В предыдущие три дня я находил бутерброды на одном и том же месте, где Карл, видимо, оставлял их для меня. А сегодня он сам решил подкормить меня днём. Возможно, заметил, как я слабею.

Сегодня напротив завода начали строить лагерь для нас. Вчера среди нас спросили, есть ли строители. Макаров, который ещё два дня назад возил тачкой шлак, вдруг объявил себя опытным архитектором. Комендант лагеря Янсон обрадовался: «Das ist gut! Du wirst ein Lager bauen.» И вот Макаров уже в роли «архитектора» строит наш новый ад.

Теперь у нас у всех лагерные номера. Я больше не Саша Луценко, а просто «Номер сорок шесть», или точнее – «sechs und vierzig». Всё, что было моим именем, моей жизнью, теперь сведено к двум цифрам.

Сигизмунда немцы называют «Dolmetscher» – переводчик. Он хорошо знает немецкий, а рисует просто великолепно. Но что самое интересное – он ведёт дневник. Недавно он прочитал нам одну из своих записей, и я не мог поверить, что автор этих умных и глубоких строк – тот самый Сигизмунд, с которым мы каждый день идём на работу.

Янсон – комендант лагеря

Комендант трудового лагеря в Германии во время Второй мировой войны обладал значительными полномочиями, и его основная роль заключалась в поддержании порядка и выполнении дисциплинарных мер, а также контроле за выполнением трудовых обязанностей заключёнными. В зависимости от лагеря и личности самого коменданта, степень жестокости и методы управления могли сильно различаться.

Комендант отвечал за поддержание установленного режима и правил лагеря. Это включало контроль за соблюдением распорядка дня, порядка работы и жизни заключённых, а также обеспечение дисциплины.

Комендант координировал действия охраны и следил за соблюдением мер безопасности. Он также отдавал приказы относительно того, как заключённые должны перемещаться по лагерю, посещать санитарные зоны и выполнять другие обязанности.

Комендант имел право наказывать заключённых за любые нарушения дисциплины, что включало отправку в карцеры, побои, сокращение или лишение пайков и другие методы. За серьёзные нарушения или попытки побега заключённым грозили более суровые наказания, включая расстрел.

Методы наказания были часто жестокими и произвольными, что зависело от личных качеств коменданта. Некоторые коменданты проводили публичные порки или унижения, чтобы запугать заключённых и поддерживать атмосферу страха.

Комендант был ответственен за распределение рабочих обязанностей между заключёнными. Он решал, кто и какую работу будет выполнять, учитывая запросы производства и указания вышестоящих органов.

Он следил за выполнением норм труда, часто игнорируя состояние заключённых и их физические возможности. Несоблюдение трудовых норм или отказ от работы карался, включая удлинение рабочего дня, наказания, голод или избиения.

Комендант контролировал распределение пищи, одежды и других необходимых вещей для заключённых. В большинстве случаев рацион и условия проживания были крайне скудными, и комендант мог оказывать давление на заключённых через манипуляции с пайками.

Он также решал, кого и когда направлять в лазарет, а кого оставлять работать даже при заболеваниях или травмах.

Комендант лагеря занимался расследованием любых случаев побегов или попыток сопротивления. Любые попытки побега карались жестоко, не только в отношении беглецов, но и в отношении тех, кто мог быть заподозрен в помощи.

Наказания за побег могли включать публичные казни или порки, чтобы подавить волю других заключённых к сопротивлению.

Некоторые коменданты использовали свою власть для личных злоупотреблений, включая физическое и сексуальное насилие над заключёнными.

12 апреля 1942 года

Сегодняшний день, казалось, мог бы закончиться спокойнее, но всё обернулось иначе. По воскресеньям, пока немцы отдыхают, нас заставляют работать до двух часов дня.

Вернувшись в барак раньше обычного, мы ещё не успели как следует помыться, когда увидели, как из дежурной комнаты вынесли стул, стол, и установили их во дворе. Комендант Янсон сел, широко расставив ноги и самодовольно оглядывая нас. Он ждал, когда надсмотрщик развернёт пакет с сигаретами.

Янсон – здоровенный детина, которому лет пятьдесят. Высокий, широкоплечий, с сигарой, которую он не выпускает изо рта. Он нас ненавидит и всегда говорит с отвратительной

улыбкой, называя нас «mein lieber Freund» – «мой милый друг». Время от времени он пускает в ход свой стек, который носит с собой, и, если в ярости – зовёт нас «russische Schweine» – «русские свиньи». На его пиджаке значок нацистской партии с надписью «Немецкая национал-социалистическая рабочая партия» и свастики в центре.

Сегодня Янсон решил устроить «благотворительную акцию»: он приказал нам выстроиться по номерам, подходить к столу и называть свои номера по-немецки, чтобы получить сигареты. Если кто-то не курит, сигареты брать не обязательно, но номер назвать всё равно нужно. Мой сорок шестой номер я знал хорошо – освоил его ещё в первые дни, когда общался с Карлом, но мне так и не удалось получить сигареты.

Передо мной стоял Василь, огромный, как медведь, человек. Он работал грузчиком до войны, добродушный, но не привыкший подчиняться. Подойдя к столу, он спокойно произнёс, глядя Янсону прямо в лицо: «Щоб тобі провалитися з твоїми сигаретами, я твоєї поганой мови не знаю і знати не хочу». Вокруг воцарилась тишина. Янсон повернулся к Сигизмунду, и на его лице было написано напряжённое ожидание. Сигизмунд пояснил: «Сорок пятый говорит, что не знает свой номер по-немецки».

Янсон взорвался. Он вскочил с места, ударил Василя по лицу так резко, что тот не успел увернуться. Янсон бросился на нас, рыча: «Russische Schweine, asiatische Barbaren!» Мы разбежались кто куда, понимая, что на этот раз лучше не попадаться на глаза. Так бесславно завершилась «акция» коменданта.

15 апреля 1942 года

Сегодня несколько человек отправили в лазарет. У Жоры Белецкого на руке огромный нарыв, и его кисть распухла, словно резиновая перчатка. Говорят, это может быть от перемены климата. Когда мы моемся, становится очевидно, что мы больше похожи на скелеты, чем на людей. У некоторых так сильно опухли ноги, что они едва могут ходить.

Единственное, что хоть как-то поддерживает нас, – это картофельная мука. Но, к несчастью, немцы заметили, что её стало меньше, и поняли, что «польская мука» – это просто ширма. Теперь перед посадкой на машины нас обыскивают каждый день, и тех, у кого находят муку, жестоко бьют. Один из тех, кого избили, уже четыре дня не поднимается с соломы и даже справляет нужду в консервную банку.

Барак возле завода почти готов, осталось только вставить окна. Но мы понимаем, что без колючей проволоки здесь не обойдётся – это неизбежно.

Я начал вести дневник, выпросив немного бумаги. Дал прочитать Сигизмунду. Он, как обычно, не обошёлся без критики: «Боже, да ты совсем безграмотный. Как ты вообще учился в школе?» Я ответил: «На четвёрки и пятёрки». Он усмехнулся: «Ну, значит, это от голода».

1 мая 1942 года

Сегодня – Международный день трудящихся, который, как оказалось, празднуют даже немцы. Мы никак не ожидали этого. Но, несмотря на их празднование, нам было не до торжеств – нас переселяли в новый лагерь.

Весь день мы провели на помывке и дезинфекции. Нас отвели в баню и заперли там с десяти утра до двух часов дня в сыром, холодном помещении. Тёплая вода текла всего пять минут, а затем пошла ледяная, и перекрыть её было невозможно.

Мы кричали, пытались стучать по трубам – даже отломали кусок трубы и били им по другим, но ничего не изменилось. В итоге стояли, сбившись в кучу, тряслись от холода. Замёрзли так сильно, что не смогли согреться до самого конца дня.

5 мая 1942 года

Теперь мы живём в новом лагере, прямо через дорогу от проходной завода, и поездки через весь город, наконец, прекратились. Наш барак довольно длинный, с одной дверью в торце. По бокам коридора – комнаты для надсмотрщиков, за ними карцеры, а дальше – спальный отсек.

Расскажу о карцерах в лагере. Карцеры это небольшие камеры без окон с небольшим отверстием для вентиляции. Там нет ничего, где заключённый мог бы сидеть или лежать. Температура не регулируется, и зимой там бывало особенно холодно.

Карцеры используются для изоляции лагерников на различные сроки – от нескольких часов до недель. В зависимости от тяжести нарушения сроки пребывания в карцере могли варьироваться. Запертые там часто оставались без пищи или получали минимальный рацион хлеба и воды.

Карцеры в лагере не имеют источников света, поэтому те, кто туда попадал, находились в полной или почти полной темноте. Там нет туалета, и им выдавалось лишь ведро для нужд.

Поводом для отправки в карцер могли служить любые, даже самые мелкие проступки, такие как замедленный темп работы, усталость, отказ выполнять приказы или нарушения внутреннего порядка лагеря.

Иногда нас отправляли в карцер за подозрение в саботаже или за мелкие кражи еды. Там часто практиковалось физическое избиение за малейшее нарушение распорядка. Карцеры использовались как инструмент запугивания, чтобы сломить волю и поддерживать атмосферу страха и подчинения.

Посередине барака стоят три длинных стола со скамьями, между ними – две печки. Вдоль стен ряды трёхъярусных нар, торцами к столам. На противоположных стенах – по три окна, которые на ночь полицаи закрывают ставнями и засовами снаружи.

Лагерь окружён высоким забором с колючей проволокой. У входа – длинный рукомоиник, больше похожий на поилку для скота. В дальнем углу – примитивная уборная. Ночью дежурный надсмотрщик выпускает в уборную только по одному человеку. И как бы ни мучился следующий, он не выпустит, пока не вернётся предыдущий.

С одной стороны лагеря проходит местная дорога, а с другой – огороды и сады частных участков с двухэтажными усадьбами.

10 мая 1942 года

Сегодня в наш лагерь привезли 36 человек из Ленинградской области. Вместе с ними пришла потрясающая новость, о которой мы не могли и мечтать: ещё зимой наши войска разгромили немцев под самой Москвой! Оказывается, не только удержали столицу, но и перешли в контрнаступление. Местами немцев отбросили на целых двести километров! Радость такая, что даже голод как-то на мгновение отступил.

К началу декабря 1941 немцы оказались на расстоянии 20—30 км от Москвы. 5 декабря, благодаря усилению резервов и прибытию Сибирских дивизий, Красная армия перешла в контрнаступление и, после ожесточённых боёв, отбросила врага на 150 – 200 километров. Эта битва стала первой крупной неудачей вермахта на Восточном фронте и доказала, что быстрая победа над СССР невозможна. Советские потери в битве за Москву составили примерно 850 000 человек (убитыми, ранеными и пленными). Немецкие потери, по разным оценкам, составили около 500,000 человек (включая убитых, раненых и пропавших без вести).

Мы думали, что наши победы ещё не скоро придут. Но вот и они настали! Эти победы – начало их конца. Немцы, кажется, сами себе подписали приговор, когда решились напасть на нас. Хотя, не стоит недооценивать их – они ещё сильны.

Вспоминаю, как в начале войны мы тоже думали, что быстро покончим с ними, что «врагу не гулять по республикам нашим». А ведь они сумели захватить почти всю Западную Европу, и теперь все её ресурсы работают на них. Но нас им всё равно не одолеть. Мы, может, и менее организованы, зато выносливее и упорнее.

Сегодня вернули ребят из «госпиталя», которых увезли туда ещё 15 апреля. Двое так и не вернулись – кажется, им уже не выбраться. Как выяснилось, никакого госпиталя там нет –

всего четыре барака, обтянутые колючей проволокой, и полиция. Работать там не заставляют, но и еда – жалкие крохи. Всего раз в день кофе-эрзац и один батон хлеба на семерых. Ни врачей, ни ухода. За то время, что наши ребята там были, из пятисот человек 42 уже увезли на кладбище, и все в одну общую яму.

Всё организовано так, чтобы человек либо умер, либо мечтал сбежать обратно на работу. Но и вернуться нелегко, если ты болен. Ребята чудом смогли выскользнуть из этого страшного места, которое словно само воплощение безнадёжности.

15 мая 1942 года

Сегодня произошло нечто действительно необычное. Во время обязательной проверки выяснилось, что один человек исчез. Побег. Вначале никто не поверил, пересчитывали снова и снова, но цифры не сходились. Барак буквально перевернули вверх дном, обшарили каждый угол, каждый матрас. Не нашли – беглец как будто растворился в воздухе. Нас держали на плацу четыре часа, не давая даже выйти из строя.

И это было только начало.

Время от времени полицейские забирали кого-то наугад и тащили в комнату для допросов. Оттуда доносились удары, крики, стоны. Били всех, пытаясь выудить хоть крупицу информации: кто знал, кто помогал. Никого не волновало, что большинство, скорее всего, даже не догадывалось о побеге.

Но это не имело значения – нужного ответа требовали силой. Многие теперь лежат избитые, стонут, плачут, проклиная того, кто решился на побег. Но я не могу осуждать его, даже зная, какой ужас он навлёт на нас.

16 мая 1942 года

Нашли его совершенно случайно, всего в тридцати метрах от лагеря, на огороде. Он успел съесть весь ещё не созревший горох, будто в последний раз пробовал еду на воле. Как жестоко его били! И как долго! Казалось, это было для устрашения всех нас, как предупреждение, что попытка побега обернётся адом. Его крики были такими пронзительными и страшными, что от них мороз по коже пробегал. Эти люди, они не просто жестокие, они наслаждаются чужими страданиями.

Сейчас, из карцера доносится его слабый, приглушённый стон. Даже если он выживет, что дальше? Мы все чувствуем этот страх и безнадёжность.

18 мая 1942 года

Беглец до сих пор в карцере. Иногда его стоны затихают, а затем снова возобновляются – слышно, как он просит воды. Но мы ничем не можем ему помочь, как бы ни хотелось. Вчера вечером Сигизмунд, решившись на отчаянный шаг, пошёл в полицейскую комнату. Он, как переводчик, попытался объяснить, что беглец просит воды. За это его ударили по лицу и выгнали обратно, как будто он совершил что-то непростительное.

Сегодня же всё иначе. Стоны прекратились, и никаких просьб больше не слышно. Мы не знаем, жив ли он. И если он умер, никто из них не понесёт за это ответственности.

Для них это обычное дело, словно человек – это просто расходный материал, который можно выбросить, как только он перестаёт служить своей цели. Этот страх перед их бесчеловечностью проникает всё глубже в нас, заставляя молчать, даже когда хочется кричать.

4 июня 1942 года

Какие же мы стали доходяги! Один из наших решил проверить, насколько мы истощены, и согнул руку в локте, повернув кулак внутрь. У него кожа от локтя до запястья свернулась в трубочку вокруг кости – одно лишь жалкое напоминание о том, что когда-то были мышцы. Это так поразило всех, что все тут же стали проверять свои руки. У некоторых выглядело ещё хуже. Голод съедает нас медленно, оставляя только кости и тени прежних сил.

После того как нас перевели в лагерь у завода, недалеко от проходной, старый сарай переоборудовали в столовую. Здесь мы теперь получаем нашу ежедневную баланду и маленький

кусочек хлеба. Но сегодня произошло нечто удивительное: хлеб внезапно выдали в бараке – один батон на четверых! Это в три раза больше, чем обычно. Мы недоумеваем, что произошло. Может, немцы решили, что это дешевле картофельной муки, которую они пытаются экономить, хотя её потребление растёт, несмотря на все их репрессии и наказания.

Наша пища – гиздопар

В нашем лексиконе давно закрепились тема «сворованной» муки. Чтобы немцы не понимали, когда мы говорим об этом, один остроумный парень предложил зашифровать её как «с (г) издопар» – вторую букву я слегка изменил для благозвучия. Потом и вовсе начали говорить просто «(г) издопар». Это вызвало такой смех и одобрение, что слово быстро прижилось.

Немцы, чувствуя что-то неладное, перенесли муку из-под навеса в сарай, но допустили ошибку: задняя стена сарая не доходила до крыши. Теперь за мукой ходим по двое: один залезает, вставая на плечи другого, а потом подтягивает его. Набрав муки, возвращаемся тем же способом.

Обыски стали частью нашей жизни. Нас обыскивают после работы на заводе, при возвращении в барак и даже на заводе, особенно в районе хранения муки. Иногда бьют не слишком сильно, а иногда – до полусмерти. На заводе испечь хлеб нельзя, да и нести в барак слишком опасно – риск быть пойманным велик. Некоторые ребята, отчаявшись, едят тесто в сыром виде, не в силах дожидаться другого шанса.

Сегодня узнали страшную новость: говорят, что под Харьковом окружена армия Маршала Тимошенко.

Поражение армии Маршала Семёна Тимошенко под Харьковом в мае 1942 года, известное как Вторая битва за Харьков, стало одной из крупнейших катастроф Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Это поражение нанесло серьёзный урон Красной Армии и ослабило её позиции на южном участке фронта, что в конечном итоге открыло немцам путь на Кавказ и Сталинград. Ставка переоценила успех под Москвой и начала наступление без необходимой подготовки. Операция началась 12 мая 1942 года с целью отбить Харьков. Немцы сознательно отступили почти до Харькова, провели контрудар с флангов и окружили советские части в районе Барвенковского выступа. 22 мая немецкие войска замкнули кольцо окружения, и к 28 мая операция завершилась. Советская армия потерпела тяжёлое поражение. По разным оценкам, потери составили около 270 000 человек, из которых примерно 200 000 были убиты, ранены или попали в плен. Немецкие потери были значительно меньше – около 20 000 человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести).

Мы еле держимся на ногах. Вчера, когда я вез на тачке кокс, силы окончательно меня покинули. Я не успел даже опрокинуть груз – вдруг стало темно перед глазами, и я потерял сознание. Когда пришёл в себя, надо мной стояли двое немцев. Мой начальник-кровапийца стоял в стороне с привычной ненавистью в глазах, а другой немец плескал на меня водой из ведра. Они ругались между собой, но я смог понять только одно: таких, как я, слабых и измождённых, здесь много. Подошёл мастер и, почти не глядя на меня, приказал идти в лагерь.

В лагере я сразу сказал дежурному помощнику, что заболел, и что мастер велел отправиться в барак. Тот пропустил меня, но не без традиционного удара по затылку. Как только я лёг на жесткую койку, мгновенно провалился в глубокий, изнурённый сон. Но не успел отдохнуть – через час новый надсмотрщик, делая обход, вытащил меня из барака и отправил обратно на завод. На этот раз, к счастью, обошлось без побоев, хотя обычно тех, кто, по их мнению, притворяется больным, обязательно избивают.

А тех, кто по-настоящему болен или травмирован, заставляют заниматься самыми разными делами по благоустройству: мыть полы, чистить двор или туалеты. Никого не волнует,

что они едва держатся на ногах, или что болезнь может убить их раньше, чем тяжёлая работа. Жизнь здесь ценится не больше, чем тот кокс, который я вчера не успел разгрузить.

5 июня 1942 года

Заставляю себя писать, хотя иногда жалею, что ввязался в это дело. Постоянно мучает голод – с самого утра, как только открою глаза, и до отбоя, а если проснусь ночью, то чувство голода снова возвращается. Оно непрестанно, как и усталость, которая, кажется, никогда не проходит. За ночь не успеваю отдохнуть, сил едва хватает. В пять утра дежурный надсмотрщик, как по расписанию, зажигает свет и орёт, будто сумасшедший: «Aufstehen!» Эта страшная реальность мгновенно вырывает из сна. И сразу понимаешь – сейчас снова погонят на ненавистный завод, где до шести вечера буду таскать тачку с коксом.

Карл рассказал, что ночью снова бомбили Кёльн.

Бомбардировки Кёльна во время Второй мировой войны были одними из самых разрушительных на территории Германии. Самая известная бомбардировка произошла в ночь с 30 на 31 мая 1942 года. В этой операции участвовало более 1000 бомбардировщиков Королевских ВВС, которые сбросили около 1455 тонн бомб на город. В результате Кёльн был сильно разрушен: более 250 гектаров густонаселённого города превратились в руины, тысячи домов были уничтожены, около 45000 жителей остались без крова. Погибло около 480 человек, и около 5000 были ранены. Бомбардировки Кёльна продолжались до конца войны, и город подвергся более чем 260 воздушным налётам. К концу войны примерно 90% центра Кёльна было разрушено, а численность населения сократилась с 800 000 до около 40 000 человек.

Говорят, разрушения огромные, жителей эвакуируют. Наконец-то война добралась и до их домов. Наши, как ни странно, обрадовались этой новости – кто-то даже сказал, что так и должно быть: остановить такую жестокую войну можно только ответной жестокостью. Немцы на заводе ходят мрачные, угрюмые, будто их души тоже разрушены бомбёжками. А мы... Мы молимся, чтобы и Саарбрюккен разбомбили. На свою судьбу мы давно махнули рукой. Здесь для нас конец уже виден на горизонте, и в глубине души мы принимаем это.

Сигизмунд сейчас работает на складе завода. Недавно он ездил с немцами за материалами на другой завод, и по пути ему удалось зайти в магазин. Конечно, всё там по карточкам – обычная жизнь под жёстким контролем.

В прошлую субботу нам неожиданно выдали по шесть марок. Говорят, что это наша «зарплата», или то, что осталось после всех удержаний за еду, одежду, жильё и «обслуживание» полицией. Такое чувство, будто эти деньги превращают нас в союзников немцев, будто мы помогаем им бороться против наших за крохи, которые они сами же нам бросают.

Когда комендант лагеря Янсон выдавал эти деньги, он с усмешкой добавил, что тем, кто будет хорошо работать, будут платить больше. Но что значит «хорошо» для нас? Мы и так еле стоим на ногах.

Эту «зарплату» я отдал Карлу. Как же он не хотел брать её! Ему было неудобно, и мне тоже – казалось, будто я пытаюсь оплатить его доброту и заботу. Этот жесткий, противоречивый мир, где даже маленькие добрые поступки омрачаются гнетущим чувством вины.

13 июня 1942 года

Мой спаситель, добрый и чуткий Карл, наконец-то принёс мне блокнот и авторучку. С каким старанием я переписал свои записи из старой записной книжки и отдельных листков, заполняя страницы мелким, аккуратным почерком.

Но сколько же там было ошибок! Самая большая из них, пожалуй, в том, что по этим записям никак не видно, что мы ещё держимся вместе – бодрые и сильные, пока поддерживаем друг друга. А ведь каждый из нас, по отдельности, уже давно потерял всякую надежду. Я и о своих переживаниях не пишу – о том, как каждый день думаю о маме. Ни дня не прохо-

дит, чтобы я не вспомнил её. Одни и те же вопросы, что не дают покоя: жива ли она? Как она питается? Мне кажется, что эти мысли меня грызут изнутри, но я не могу их записать – как будто если не написать, то это не станет реальностью.

*Я плачу горькими слезами,
Когда печальный образ твой
Перед сыновыми глазами
Встает туманной пеленой.*

18 июня 1942 года

Позавчера в наш лагерь привезли двадцать ребят из Полтавской области. Это совсем рядом с моим родным Харьковом, и мне стало чуть теплее на душе оттого, что среди новеньких есть земляки. Сегодня нас в лагере стало 120 заключённых – двоих уже увезли в этот злополучный «госпиталь»: одного несколько дней назад, а второго – сегодня, из новоприбывших.

Утром, когда нас гнали на завод, ещё было темно, а освещения снаружи не было. Мы то уже знали, куда идти, давно запомнили этот путь к проходной, а вот один из новеньких зазевался и, вместо того чтобы идти с нами, свернул вправо к умывальнику.

И тут, как из ниоткуда, возник Чёрный – самый свирепый из всех надсмотрщиков. Он с размаху ударил парня в лицо. Тот упал, но, несмотря на удар, тут же вскочил и, неожиданно для всех, бросился на Чёрного. Но долго сопротивляться ему не дали: другие полицаи тут же подбежали, сбили его с ног и начали избивать ногами, освещая его тело фонариками.

Они били его даже тогда, когда он уже перестал сопротивляться и, скорее всего, потерял сознание. Потом надсмотрщики, словно это был мешок с картошкой, схватили его за ноги и потащили в карцер. Его голова болталась и стучала об пол. Вечером, когда мы вернулись с завода, его уже не было в бараке.

Я не понимаю, откуда у немцев берётся такая звериная ненависть к нам, к людям. Чёрный выделяется среди остальных надсмотрщиков своей жестокостью – он наслаждается каждым моментом, когда может кого-то избить. Ему достаточно, чтобы кто-то не так на него посмотрел или прошёл мимо с недостаточной покорностью, и он тут же применяет свою силу. Здоровенный, широкоплечий, с лицом синюшного цвета, он, кажется, видит свою цель в том, чтобы внушить нам животный страх, сделать из нас безмолвных и покорных рабов.

Малейшее неповиновение воспринимается как бунт, и за это следует мгновенная, жестокая расправа. Лёгкие наказания происходят в дежурной комнате, а тяжёлые – в карцере, откуда не все возвращаются.

Обедаем мы в так называемой «столовой» на заводе, которую устроили в старом низком складе. Внутри стоят дощатые столы и скамейки. Обычно Чёрный раздаёт баланду у входа. Мы заходим, берём миску и становимся в очередь, чтобы получить свою долю.

Когдаходишь к нему с миской, никогда не знаешь, что тебя ждёт: то ли он наложит баланду, то ли просто ударит. Одному он нальёт суп, другому – вдруг, без всякой причины, может ударить половником по голове или сапогом по ногам, а то и в пах. Этот постоянный страх перед тем, что тебя могут избить в любой момент, становится невыносимым.

25 июня 1942 года

На днях Сигизмунд снова ездил на другой завод. Там, по его словам, отношение к русским такое же скотское, как и здесь. Будто для них мы не люди, а просто рабочий материал, расходный и заменимый.

О всех своих мыслях и сомнениях я говорю только с Володей. Он, как и я, стал мне настоящим другом с первых дней нашего пребывания здесь. Мы с ним работаем рядом: его мастерская, где он помогает слесарю, прямо напротив тех проклятых топок, которые отнимают мои силы каждый день. Мы всегда вместе – на завод, в лагерь, обратно.

Когда Карл дал мне третий бутерброд, я сразу пошёл к Володе, чтобы поделиться. Оказалось, что его мастер тоже помогает ему с едой. Но наша настоящая сила – в том, что у нас общий гиздопар. Мы едим из одного котелка, и чаще всего муку удаётся раздобыть Володе – его мастер помогает ему в этом.

8 июля 1942 года

Вчера произошло удивительное событие – один из наших ребят получил письмо из Харькова. Мы все читали его по очереди, как будто это было наше собственное письмо. В нём описывалась тяжёлая жизнь в оккупированном городе. Оказалось, что месяца два назад он отправил письмо через немца, и вот теперь пришла весточка.

Полтавчанин тоже получил письмо. В нём рассказывается, что немцы забирают всех трудоспособных в Германию, а деревни сжигают.

На нас, истощённых и голодных, некоторые немцы смотрят с явным сочувствием. Качают головой и говорят: «Krieg ist schlecht» – «Война – плохо». А мы всё время слышим одно: «Schneller! Schneller! Schneller!» – «Быстрее! Быстрее! Быстрее!».

Одни из нас превратились в живые скелеты, а у других ноги распухли так, что кожа натянулась, как барабан.

13 июля 1942 года

Говорил с Карлом о Косте и Антоне, с которыми работаю вместе. Спросил, нельзя ли и им приносить бутерброды. Карл ответил, что в лавках ничего не купишь без карточек, даже если заплатить больше. Но он сказал, что будет думать, а сам, улыбаясь, назвал меня *Gauner*. Павлик пояснил, что это значит «мошенник».

Из немецких газет дошли известия, что под Ленинградом у нас дела идут плохо, немцы также полностью захватили Севастополь и Крым. Это тяжело осознавать, слишком печально.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и продолжалась 250 дней, до 4 июля 1942 года, когда Севастополь был сдан. Несмотря на поражение, оборона Севастополя стала символом стойкости и героизма советских солдат. В ходе обороны Крыма и Севастополя советские войска потеряли около 200 000 человек убитыми, ранеными и пленными, а потери немецко-румынских войск составили примерно 300 000 человек. Потеря Севастополя привела к ухудшению положения Красной Армии и позволила немецким войскам продолжить наступление к Волге и на Кавказ и, вскоре, захватить Ростов-на-Дону и Донбасс. В последних боях советские войска потеряли ещё около 600 000 человек.

В мае – июне 1942 года была окружена и потерпела поражение 2-я ударная армия при попытке прорвать блокаду Ленинграда. Командующий армией А. А. Власов со своим штабом сдался немцам. Он вскоре возглавил Русскую освободительную армию (РОА). Численность РОА, по разным данным, к концу войны составляла порядка 120—130 тысяч человек, составляя примерно 10% от общего числа граждан СССР, воевавших на стороне Третьего Рейха.

25 июля 1942 года

В лагерь привезли новую партию – 17 ребят и 53 женщины. Ребят разместили у нас, а женщин – на заводе, в бывшем складе у самой проходной. Коля Беспорточный, наш неугомонный шутник с забавной фамилией, сразу отпустил фразу: «Лучше бы вновь приехавших ребят поселили на складе, а девчат – к нам.» Это вызвало долгий смех и почти полуторачасовой разговор.

Миша, глядя на свои истощённые руки, вздохнул: «Мы, Коля, и без девчат ноги протянем.»

По вечерам иногда читаем вслух привезённые с собой книги, и мои *Три мушкетёра* пользуются наибольшей популярностью. С приездом этой последней партии число людей в лагере увеличилось до 167. Из «госпиталя» уже не вернулись семеро.

Среди новеньких есть одиннадцатилетний мальчик по имени Коля. Его угнали из деревни вместе с родителями, но он не знает, куда они делись. Всё это напоминает рабовладение. Как же хочется дожить до конца рейха!

29 июля 1942 года

Сегодня ночью впервые бомбили Саарбрюккен. Наконец-то и сюда добрались острые когти войны.

Саарбрюккен регулярно подвергался сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны. Первый крупный налет на Саарбрюккен был предпринят 29 июля 1942 года, целью которого были промышленные объекты. Потеряв девять самолетов, бомбардировщики разрушили почти 400 зданий, повредив более 300 других и убив более 150 человек. Всего в Саарбрюккене в результате бомбардировок с 1942 по 1945 год погибло около 1300 человек (1,1 процента населения). Было разрушено 11 000 домов, а 75 процентов города превратилось в руины.

По предупредительной тревоге нас, как обычно, погнали на завод в укрытие. Немцы, как всегда, спрятались в большом убежище, построенном в холме, а нас загнали в подвальное помещение под нефтескладом – место, которое при попадании бомбы превратилось бы в огненную ловушку. Мы все понимали, что шансов выжить там практически нет, и многие даже не спешили реагировать на тревогу. Казалось, какая разница – сложить голову сейчас или позже? Некоторые, если удавалось избежать внимания надсмотрщиков, тайком возвращались в бараки, чтобы урвать немного сна, пока охрана отсиживалась в своих безопасных укрытиях.

Сегодня, когда нас снова гнали в убежище, я заметил, как двое ребят, воспользовавшись темнотой, побежали мимо проходной вдоль заводского забора к лесу на холме. Позже они рассказали, что это был не первый их побег. Они взобрались на холм и добежали до опушки леса, но не успели отдышаться, как началась бомбёжка города. Каждый взрыв вызывал странное чувство радости, смешанной с жалостью. Вскоре все взрывы слились в сплошной гул, заглушая даже рёв самолётов, а земля под ногами дрожала, словно она содрогалась от страха. Огненное зарево осветило небо, и мы увидели бесчисленные многомоторные бомбардировщики.

Бомбёжка вызвала небольшие повреждения в нашем бараке – разошлись стыки панелей. По соседству сторел жилой дом за железнодорожным полотном, а в механическом цехе бомба пробила крышу и выбила кусок стены. Но серьёзного ущерба заводу налёт не нанёс.

10 августа 1942 года

Среди прибывших женщин была одна особенно героическая, о которой говорили: «Она словно хочет, чтобы немцы поскорее её убили». Она хорошо знала немецкий язык и, вызываясь глядя на Янсона, заявила: «Я комсомолка и на немцев работать не буду!» Янсон был в ярости, но ударить её не посмел. Её отчаянная смелость вызывала у нас одновременно восхищение и страх за её судьбу. Все понимали, что так вести себя опасно, но в глубине души было стыдно за собственную покорность. Мы прозвали её «Тамара-комсомолка». Её тут же посадили в карцер.

Через несколько дней её вывели на завод подметать механический цех. Она сказала, что не умеет этого делать. Немец пытался показать, как надо, но она стояла на своём, твердя, что ничего не понимает. Надсмотрщик, увидев, как она насмехается над немцем, отвёл её обратно в карцер. На Тамару кричали, морили голодом, но она смело отвечала: «Я комсомолка и работать на вас, фашистов, не буду!» Её били, а вчера двое охранников увезли её в гестапо.

Тем временем Янсон обзавёлся переводчиком – Германом Метелицей. Он заискивает перед нами, оправдывая своё положение язвой желудка. Якобы до войны он работал в Московском комитете комсомола, но многие в этом сомневаются. При всех он добрый и улыбчивый, но в личных разговорах с нами пренебрежителен и груб.

Метелица не пронумерован, питается отдельно и даже заставил одного мальчишку быть у него на побегушках. Перед Янсоном он унижается, не смущаясь нас, на коленях зашнуровывает Янсону ботинки.

22 августа 1942 года

У немцев действительно хорошо налажена система воздушного наблюдения. Как только над Ла-Маншем появляются самолёты, сразу же по радио оповещаются прилегающие области. Затем, в направлении полёта самолётов, объявляется предупредительная тревога (*Voralarm*) коротким сигналом сирены, и наружное освещение отключается. При дальнейшем приближении самолётов включают боевую тревогу (*Mitlagealarm*) длинным сигналом; выключается всё освещение, и нас загоняют в убежища.

Наше убежище имеет двери с уплотнением и двумя замками – внизу и вверху. Когда нас туда запирают, обязательно пересчитывают, и два охранника остаются сидеть у дверей. Обычно самолёты пролетают мимо, но до их возвращения боевая тревога не отменяется. Дневные тревоги нам даже на руку, но они очень редки. А ночные – изматывают до предела, в убежище ужасная теснота, спать невозможно.

С начала бомбёжек Саарбрюккена нас после работы возят расчищать завалы. Обещали дополнительное питание за это, но, как обычно, ничего не дали, и ребята стараются увильнуть от этой работы. Каждый вечер в лагере суматоха, пока не наберут две машины рабочих для расчистки.

23 августа 1942 года

Мы с Антоном возим кокс к печам – он работает днём, а меня перевели на ночную смену. Ночью кокса требуется меньше, но работать всё равно тяжело, потому что охранники не дают спать до обеда, заставляя нас заниматься благоустройством лагеря.

На этих работах мы подметаем дорожки вдоль бараков, подправляем стены и даже высаживаем цветы. Потом приходят штатные фотографы и снимают «счастливых» рабочих на фоне этих цветочков. Всем, кто попал в кадр, раздали фотографии и порекомендовали отправить их домой, как доказательство «хорошей жизни» в Германии.

Над больными издеваются, чтобы они как можно быстрее возвращались на завод. На прошлой неделе их заставили рыть траншею в отвратительном каменистом грунте за баракom, а сегодня эту же канаву заставили засыпать, плотно утаптывая землю.

Если кто-то возвращается в лагерь днём без явных признаков болезни, его обычно бьют, считая, что он симулирует. Если кто-то убегает – значит здоров, и его ещё сильнее бьют, заставляя работать.

После ужина раздался громкий голос Василя Сорока Пятого: «Ребята, я выучил немецкий язык!» Все тут же захохотали, ведь его способности к немецкому были известны. «Чего смеётесь? Сейчас послушайте!» Все замерли, а он как гаркнет: «Х (э) й Гитля!» И сам свалился от смеха вместе со всеми.

Но в этот момент распахнулась дверь, и влетели надсмотрщики. «Кто кричал?» Василь спокойно ответил: «Я.» Они тут же схватили его и потащили в карцер. Там его молча избили и отпустили.

25 августа 1942 года

Ребята попросили Германа передать Янсону наше возмущение из-за скотского обращения. Не знаем, что он ему сказал, но Янсон влетел в барак, красный от ярости, и начал бить всех стеком, направо и налево, крича, что это большевистский бунт, и заявил, что ужина не будет.

Так и вышло – ужин нам не дали, а вместо двух машин на расчистку развалин в городе отправили четыре.

На следующий день Сигизмунд тайком ушёл в город, но у самого лагеря наткнулся на коменданта. Янсон накинулся на него и выместил всю свою злость. Что делать дальше, мы не знаем.

Договорились рассказывать немцам на заводе, что нас постоянно избивают. Последнее время не проходит дня без побоев. Многие немцы тайно нам сочувствуют.

27 августа 1942 года

Прошлой ночью мы устроили Янсону свою «Варфоломеевскую ночь», срезав весь урожай яблок в его саду. Кто первым предложил набег на его фруктовый сад, уже трудно сказать – мы давно поглядывали на сочные плоды. Янсон обожал свой сад, он ухаживал за деревьями, прививал черенки и терпеливо ждал, когда созреют яблоки. Ночью один из наших вылез через окно, оттянул снаружи ставни и вернулся в барак. Мы начали вылезать по одному через окно и перелезать через забор к саду.

Для меня этот поход был особенно сложным, потому что я ничего не видел в темноте и рвал яблоки на ощупь, держась за Володю «Арамиса». В полной темноте мы тихо пробрались к саду, но вдруг ночную тишину разорвал громкий крик сыча. Все замерли на мгновение, но вскоре продолжили собирать яблоки. Мы быстро вернулись, никто не паниковал. Нашу добычу спрятали в полые панели барака.

Но радость была недолгой. За час до подъёма нас разбудил шум снаружи – Янсон ворвался в барак с огромным догом и охраной. Он был в бешенстве и начал искать украденные яблоки. Обыск ничего не дал, хотя воздух был пропитан запахом фруктов. Янсон кричал, что мы, как саранча, объели его сад за ночь. Охранники поняли, что ничего не найдут, но Янсон не отпускал ночную смену – начались допросы и побои. Несмотря на пытки, никто никого не выдал – все «спали».

Когда мы, наконец, вышли на завод, все уже знали о нашей «вылазке». Немцы хихикали, недоумевая, как мы могли съесть весь сад за одну ночь. Карл рассказал, что обычно Янсон держал собаку в саду, но в ту ночь забрал её в дом.

10 сентября 1942 года

Вчера нас неожиданно выпустили из лагеря без конвоя, и это было странным событием. На 17 человек выдали всего один пропуск на три часа, и предупредили, что тот, кто попадётся без него, будет отправлен в концлагерь городской полицией. Также нас предупредили, что, если кто-то вернётся отдельно от группы, его посадят в карцер, и прогулки будут отменены. Сегодня нам оформили удостоверения личности с фотографиями и отпечатками пальцев, а самое удивительное – выдали по одной почтовой карточке для отправки домой. Не понимаю, почему вдруг такое внимание и поблажки. Может, это из-за нашего похода в сад Янсона? Мы ведь ещё не все яблоки съели.

Я написал открытку маме, и слёзы текли, пока я писал. Жалко её, жалко и себя, но её – больше всего. Волнение за её судьбу, за её неспособность приспособиться к трудностям не даёт мне покоя. Жива ли она? В горле ком, а на душе тяжесть. Написал, что жив и здоров, боясь, что, если скажу правду, открытку просто выкинут. Чтобы мама поняла моё положение, я написал, что работаю, как «братоша» в её яслях до войны – никто ведь и не подумает, что в яслях приходилось тяжело трудиться.

Но на самом деле, как я помню, этот «братоша» был бывшим офицером царской армии, который, будучи без средств, лишённым всяких прав, чудом получил работу в яслях после каторги. Он был добрым, умным, но сломленным человеком, которого тайком подкармливали мама и другие работники, несмотря на жестокие приказы заведующей.

Пришли печальные вести с Кавказа – появились фотографии немецких флагов на Эль-брусе.

Воспользовавшись успехами под Харьковом и Ростовом, 25 июля части вермахта начали наступление на Кавказ и Сталинград. Захват Кавказа означал для Советского Союза потерю бакинской и грозненской нефти, а перед немцами открывался запас этой нефти и путь в Иран и Ирак. Началась 450-дневная битва за Кавказ. Наступление немцев развивалось стреми-

тельно: 3 августа они взяли Ворошиловск (ныне Ставрополь), 10 августа – Майкоп, 12 августа пал Краснодар. С 25 июля по 17 августа вермахт смог продвинуться на 600 км, однако своей основной цели – разгрома наших армий и прорыва в Закавказье – достичь не смог. В Майкопе немцам достались лишь сгоревшие нефтехранилища и уничтоженные скважины. Топлива немецким танкам и самолётам по-прежнему не хватало.

15 сентября 1942 года

Наконец-то мы избавились от Чёрного, самого жестокого надсмотрщика. Этот человек ненавидел нас и издевался над нами, как настоящий садист. Всё произошло, когда одна из девушек, которые живут на заводе у проходной, после построения захотела вернуться в барак, потому что заболела. Чёрный подскочил к ней и ударил так сильно, что она упала, вся в крови. Проходившие мимо немцы, шедшие на работу, возмутились этим. Чёрный схватил девушку за воротник и потащил её в помещение.

Возможно, именно возмущение немцев стало причиной его увольнения, а может, его просто перевели в другой лагерь. Но с тех пор мы его больше не видели.

Теперь у нас своя группа, и мы распределили между собой роли из нашего любимого романа *Три мушкетёра*: Миша Трофимов – Кардинал, Володя Чекаловец – Арамис, Жора Белецкий – Атос, Павел Домбровский – Портос, а я – д'Артаньян. Только Сигизмунд сохранил своё прозвище, не связанное с романом – Зима.

Сигизмунд «Зима» Кишкин

Сигизмунд был студентом Харьковского строительного института, и он отлично рисует. Ему достаточно сделать пять-шесть штрихов, и уже понятно, кого он изобразил. Однажды он набросал забор и щётку метлы под ним, и все сразу узнали в этом изображении Гитлера.

Сигизмунд – организованный и содержательный человек, как никто другой. Он ведёт дневник и иногда зачитывает нам свои записи, которые поражают своей точностью и живостью. Благодаря его таланту мы начинаем осознавать моменты, которые раньше проходили мимо, не замеченные.

Иван Мельник однажды сказал: «Если выживешь, обязательно напиши книгу о нашей жизни». На что Сигизмунд ответил: «Все выживем, и книгу напишу обязательно. Назову её „Во граде Саарских мостов“, по аналогии с древними былинами».

Чем больше я его узнаю, тем больше меня мучает, когда его бьют. Его знание немецкого языка не облегчает ему жизнь, а, наоборот, усложняет из-за его прямоты. Я часто задаюсь вопросом: почему он, умный и рассудительный человек, иногда так опрометчиво себя ведёт? Может, он нарочно испытывает себя и этих извергов, чтобы узнать, на что они способны?

Сигизмунд немного старше меня, общительный, но чаще серьёзен. Он знает много стихов и часто читает их нам. Именно он вдохновил меня начать вести дневник, советуя записывать всё важное, даже если это не всегда складно. Он говорит: «Плюнь на стиль, зато будешь при деле, и это дисциплинирует».

У Сигизмунда всегда озабоченное выражение лица. Он считает, что, даже если мы не выберемся отсюда, нужно оставаться человеком до конца. Он записывает наши эпизоды, делает зарисовки и заставляет нас верить, что осталось совсем немного – просто выжить. Но иногда я спрашиваю себя, верит ли он сам в это?

Недавно он принёс из развалин книгу *История архитектуры*. Она на немецком, с готическим шрифтом, но мы посмотрели картинки, и он пообещал при первой возможности принести ещё книги. Несмотря на усталость и голод, я всегда с удовольствием слушаю его и Павлика, потому что они для меня бесценные источники просвещения. Удивительно, как даже на пороге смерти человек продолжает стремиться к знаниям.

Миша «Кардинал» Трофимов

Миша старше меня на целых пять лет. Он высокий, с лицом, полным внутренней энергии, но при этом в его глазах всегда сквозит какая-то неизбывная печаль. Говорит он немного, но каждое его слово звучит так, будто за ним стоит целый мир мудрости. Я никогда не забуду, как он спас меня в том ледяном вагоне по дороге из Харькова в Мец. Миша учит меня быть не только смелым, но и осторожным, всегда предугадывать шаги врага и действовать хитро.

В самом начале он посмеивался надо мной, называя «маменькиным сынком», но при этом всегда поддерживал, когда было трудно. Иногда мне кажется, что он способен читать мои мысли – так часто он шутит именно о том, что я думаю. У Миши выразительные губы, а его усы – единственные во всём лагере – заставляют его выглядеть старше и опытнее. Именно он заставил меня впервые побриться, подшучивая, что я уже достаточно вырос, чтобы быть мужчиной.

Миша, которого мы зовём «Кардинал», действительно самый мудрый из всех нас. Его опыт и терпение вызывают уважение. Каждый день он делит свой маленький кусочек хлеба на три части, словно в этом его собственный ритуал. В первое время я думал, что его таинственные взгляды и молчание делают его похожим на какого-нибудь ловкого картёжника или афериста, который может перехитрить любого. Но с течением времени я понял, что за этим образом скрывается человек исключительной порядочности, выдержки и ума. Миша, кажется, знает многое о мире заключённых ещё из жизни до войны, но это не делает его менее достойным.

Сегодня он, словно невзначай, сказал: «Человек – не животное, он должен интересоваться чем-то большим, чем просто еда». Эта его фраза с осуждением, но без резкости, заставила меня думать об этом весь день. Миша говорит немного, но каждое его слово, как у какого-то восточного мудреца, остаётся в памяти надолго.

Я многое у него усвоил. Его уроки просты: надо быть разумным и осмотрительным, рисковать только тогда, когда это оправдано, а жертвы должны быть достойными. С врагами мы должны быть хитрыми, а для своих – добрыми и нежными. Не стоит жалеть тех, кто нас уничтожает, но тем, кто добр, нужно отдавать всю душу. Миша научил меня, что в этих условиях нельзя думать о порядочности так, как раньше. Чтобы выжить, нужно уметь перехитрить немца, украсть у него, если потребуется, и не испытывать из-за этого угрызений совести.

Володя «Арамис» Чекаловец

Володя Чекаловец – человек, на которого я смотрю с восхищением. Его доброта, благородство и выдержка делают его для меня образцом того, каким я хотел бы стать. Мы ровесники и Володя – надёжный друг и товарищ, на которого всегда можно положиться.

Володя – человек, который привлекает внимание не только своим характером, но и внешностью. Его светлые, слегка волнистые волосы, голубые глаза с длинными, как у девушек, ресницами, с красивым разлётом бровей сразу привлекают внимание. А художавое лицо, прямой нос и ярко очерченные губы создают облик, который сложно не заметить. В нём есть лёгкая мальчишеская угловатость, но при этом он выглядит благородно,. Володя добр, необычен и обладает выдержкой, которой могут позавидовать многие. Он прекрасно воспитан.

Неудивительно, что Володя всем нравится, даже немцам. Янсон, например, выделяет его за светло-русые кудри и голубые глаза, считая это признаком типичного представителя его нации. Янсон уже несколько раз с подозрением спрашивал его: «Vielleicht sind Sie ein Volksdeutsch?» – «Может, вы фольксдойче (немец, живущий за пределами Германии)?» Володя, с едва заметной издёвкой, всегда гордо отвечает: «Nein, Herr Janson, ich bin kein Deutscher, ich bin ein Russe» – «Нет, герр Янсон, я не немец, я русский».

В условиях этой тяжёлой борьбы за жизнь раскрываются все черты человеческой души. Мы видим друг друга насквозь, и становятся заметны как малейшие достоинства, так и недостатки. Обнажённость характера заставляет человека расти и становиться лучше. Но есть вещи, которые изменить нельзя, и мы принимаем их с доброжелательностью, иногда даже смеясь над слабостями друг друга. Но Володя остаётся светлым человеком с чистейшей душой, идеальной порядочностью и невозмутимостью. Для меня он – недостижимый эталон. Я люблю его и стараюсь уберечь от лишнего риска, насколько это возможно.

Ему одному я доверил свои самые сокровенные чувства, рассказал о Клаве, соседке и однокласснице, в которую влюбился. Я боялся, что она когда-нибудь догадается о моих чувствах. Я даже показал Володе маленькую фотографию Клавы, которую случайно нашёл в выброшенной школьной стенгазете и храню, как самую ценную реликвию. Когда нас заперли в сарае в Харькове перед отправкой, я начал писать для неё стихотворение, надеясь передать его через маму, если она придёт. Я прочитал это стихотворение Володе по памяти.

Клаве

*Прощай! О, Клава дорогая,
Друг школьной юности моей.
Тебе пишу я, уезжая
В Германию на много дней.*

*Я помню школьные веселья
И многое из школьных дней.
Взаимны наши одолженья
Храню я в памяти своей.*

*Ты помнишь робкое свиданье?
Если его так можно звать.
Но я тогда свои признанья... Пустяк!
Не время вспоминать.*

С тех пор ушло так много дней,

*Так всё вокруг переменилось,
Но чувство с каждым днём нежней,
К тебе доньне сохранилось.*

Жора «Атос» Белецкий

Жора Белецкий немного ниже меня ростом и на два года старше. Его лицо интеллигентно, а волосы слегка волнистые. Жора поражает своей образованностью, независимым мышлением и безжалостной логикой. Он всегда старается доказать своё превосходство в любом разговоре и совершенно не умеет признавать свою неправоту. Но за его грамотность и дружелюбное отношение ко мне я не замечаю этой надменности и готов слушать его сколько угодно. Меня не смущает его поучительный тон – я готов учиться в любой форме.

У многих его стремление учить вызывает раздражение, но даже они признают, что Жора отлично разбирается в событиях и людях. Однако его отказ признавать авторитеты иногда кажется чем-то вроде позёрства.

Жора работает у немецкого мастера по прозвищу Беспалый – так мы его называли, потому что у него на правой руке нет трёх пальцев. Жора управляет небольшим мостовым краном, когда нужно перегружать песок из вагонов в их отделение, которое готовит смеси для литейного цеха.

Однажды, во время перерыва, я забрался в кабину крана к Жоре, и он прочитал мне настоящую лекцию об истории еврейского народа. Когда я спросил, откуда он знает всё это так подробно, Жора открылся мне: он еврей. Я был поражён. Во-первых, он совсем не похож на еврея, а во-вторых, трудно было представить, что еврей стал бы искать убежище в таком месте, как это.

Вскоре Жора рассказал свой секрет и Володе, и Павлу, и Мише. Он показал семейную фотографию, которая чудом уцелела. Мы все единогласно высказали мнение, что хранить её очень опасно. На фотографии была типичная еврейская семья. Мы предложили спрятать её или, ещё лучше, уничтожить, но Жора наотрез отказался. Это его единственная память, и он не расстанется с ней, даже если это будет стоить ему жизни.

Павлик «Портос» Домбровский

По вечерам, после ужина, происходят самые интересные беседы между Сигизмундом и Павликом Домбровским из ленинградцев. С Володей мы обычно сидим рядом, молча слушаем, а на следующий день, пока идём на работу и обратно, вспоминаем и обсуждаем услышанное.

Павлик – любимец всех. Он на три года старше меня, высокого роста, крепкий, с искренними наивными глазами, жизнерадостный и до удивительного доверчивый. В нём сочетаются детская простота и благородство настоящего рыцаря. Его наивность вызывает у всех улыбку.

Стоит ему попытаться схитрить – и его сразу «разоблачают,» на что он только смеётся вместе со всеми. Он умеет посмеяться над собой так же, как и над другими. Павлик заряжает всех своим оптимизмом и весёлой открытостью. В моменты особого воодушевления он энергично потирает ладони. Рассказчик он замечательный: с артистизмом изображает каждого персонажа, и кажется, будто мы присутствуем при событиях, о которых он рассказывает. Немецкий он знает хорошо, даже лучше, чем Сигизмунд. Янсон хотел было сделать его своим переводчиком, как когда-то Сигизмунда, но Павлик отказался. Тогда его отправили в химическую лабораторию, где он моет колбы и пробирки – самая лёгкая работа в лагере.

Как-то он рассказал нам о своей безответной любви к соседке. Говорил так, словно этот роман завершился трагически, даже собирался, как он выразился, «расстаться с жизнью.» Мы замерли, а он улыбнулся, будто очнулся от сна, и с лёгкостью вернулся мыслями обратно в лагерь.

Однажды, в момент особой откровенности, Павлик рассказал мне, как он оказался здесь, в трудовом лагере. Родился он в Ленинграде, окончил школу и, полный решимости служить Родине, подал заявление в военное училище лётчиков. Однако судьба распорядилась иначе: из-за небольшого недуга его туда не приняли. Но Павлик не сдался и попытал счастья в танковом училище. На этот раз ему повезло, и он прошёл ускоренный курс подготовки.

В 1940 году, едва получив звание лейтенанта, его отправили служить к самой границе с Польшей, в город Лида. Там царила совсем другая атмосфера, чем в училище – подготовка к войне шла полным ходом. Павлик не только проводил занятия с солдатами по тактике и стрелковой подготовке, но и на лыжах бегал в противогазе, проводил политзанятия, а в свободное время даже участвовал в самодеятельности. Он был назначен политруком роты, и в части его уважали.

Но вот танков они в своей части так и не увидели. Говорили, что техника находится на складах и будет отправлена «в нужный момент» вместе с вооружением. А пока они имитировали тактические манёвры, словно дети: экипажи из четырёх человек изображали танк и маршировали по полю, подчиняясь командам, которые передавались через рупор. Так и ждали эти обещанные танки, которых так и не получили.

А потом пришёл день 22 июня. Немцы ворвались в Белоруссию, и уже 27 июня захватили Лиду. Часть Павлика оказалась окружена и разбита ещё до того, как смогла организовать сопротивление. Связь была утрачена, тяжёлое вооружение отсутствовало, и даже командование исчезло. Павел, вместе с другом, попытался уйти на восток через леса, надеясь найти своих. Они и не догадывались, что немцы уже ушли далеко вперёд, оставляя позади себя хаос и разруху.

Павлик рассказывал мне, как однажды ночью, когда они с другом вышли на небольшую лесную поляну, со всех сторон вспыхнули фары. Автомобили выстроились вокруг, и оттуда сразу выпрыгнули немцы с собаками. Ослеплённых светом, их схватили и, связав, бросили во временный лагерь, устроенный прямо в поле и огороженный колючей проволокой.

Там, в этом импровизированном лагере, уже находилось несколько тысяч человек, таких же, как они.

«Нас было слишком много. Даже немцы не ожидали, что смогут так легко поймать столько солдат», – говорил Павлик с горечью. «Они и сами не знали, как нас всех накормить, напоить». Он рассказывал, что немцы сразу объявили: евреи и политические работники будут немедленно расстреляны. Но и без того люди гибли каждый день – от голода, жажды, болезней. Малейшее неповиновение каралось мгновенным расстрелом.

Чтобы хоть немного поддержать жизнь среди пленных, немцы привозили картошку и сваливали её прямо на землю. Павлик с горечью вспоминал: «Они смеялись над нами, когда мы хватали эту сырую картошку и ели её прямо на месте. Даже сейчас я помню их сытые, ухмыляющиеся лица, полные презрения». Пленным иногда разрешали разжигать костры днём, чтобы печь картошку, а охрана закрывала глаза на то, что местные приносили немного еды и обменивали её на оставшиеся у пленных вещи: портсигары, зажигалки, ремни – всё, что чудом сохранилось. Павлик понимал, что их дни сочтены. Либо они умрут от голода, либо его, как бывшего политрука, немцы расстреляют.

Вскорости созрел план побега. Нужно было поторопиться пока немцы не усовершенствовали охрану или не вывезли всех отсюда в более оборудованные лагеря. В десять часов вечера обычно поступала команда тушить костры. Это нужно было делать немедленно – за промедление охрана расстреливала всех, кто находился у костра. «Немцы так приучили нас к повиновению, что костры гасли по команде почти одновременно по всему лагерю.

Этим мы и решили воспользоваться. Дело в том, что в моменты между ярким светом костра и непроглядной тьмой ночи охране нужно время для адаптации. Глаза не могут быстро привыкнуть к такой резкой перемене освещения», – Павлик смотрел куда-то мимо меня, заново переживая события той ночи.

«Вечером мы с моим другом сразу после команды гасить костры приподняли нижний край колючей проволоки, проскользнули под ней и, сломя голову, ринулись в лес. С нами врасыпную бросились ещё несколько человек. Пока охрана опомнилась и открыла огонь, мы уже были в лесу», – вспоминал Павлик. Он оживленно жестикулировал, казалось, ноги вот-вот сорвутся и понесут его в ту непроглядную тьму.

Им нужно было решать, что делать дальше. Бежать на восток? Но там, несомненно, начнутся облавы и погони. На север, только на север – решили они с другом. Сбросили военную форму, закопали документы и переоделись в одежду, которую удалось обменять у местных жителей. Теперь они выглядели как простые крестьяне и, под видом возвращающихся домой, устремились, как им казалось, в сторону Ленинграда.

Двигаясь на север, они перебивались случайными заработками, избегали городов и крупных посёлков, ночуя в лесах и прячась от посторонних глаз. Но фронт отдался всё дальше. Начались утренние заморозки, и нужно было подумать, как пережить зиму. Случай улыбнулся им: в одной из глухих деревень Псковской области их приютили две одинокие старушки, которые приняли их, как своих внуков.

Но спокойствие длилось недолго. Ранней весной 1942 года в деревню ворвались немцы. Всех молодых жителей они собрали и отправили в Германию. Павлика и его друга тоже забрали, но уже не как военнопленных, а как мобилизованных на принудительные работы. Сначала этапом отправили в распределительный лагерь в Меце, а затем – в лагерь при заводе в Саарбрюккене. «Добро пожаловать в преисподнюю,» – с горечью заключил Павлик.

Мои друзья-«мушкетёры»

В окружении колючей проволоки и серости лагерных будней, когда каждый новый день мог стать последним, мои друзья стали чем-то большим, чем просто товарищами по несчастью. В их присутствии я нахожу ту внутреннюю силу, которой мне не хватало, чтобы справиться с испытаниями первых месяцев.

Каждый из них – Миша, Сигизмунд, Володя, Павлик, Жора и другие – стал частью той нити, которая удерживает меня на краю пропасти, не давая потеряться в бездне отчаяния. Их поддержка и дружба напоминают мне о человеческой доброте и мужестве. Они моё убежище от страха, моя надежда на спасение. В моменты, когда мы делили последние крохи хлеба или тихо переговаривались в ночной тишине, я знал, что не один.

Каждый день в этом аду – как бесконечная пытка. Мы живём словно тени, борясь за крохи еды и моменты покоя. Иногда кажется, что это уже не жизнь, а какая-то пародия на неё. Я смотрю на своих товарищей – измождённых, но не сломленных, и понимаю, что только это у нас и осталось – поддержка друг друга и редкие минуты радости. Здесь нет места слабости, но боль и страх делают нас ближе, превращая нас из простых знакомых в братьев по несчастью. Моя надежда живёт в каждом из них.

Эти люди стали моей семьёй, и, возможно, именно они были тем, что помогло мне пережить первые месяцы заключения в лагере. Я всегда буду помнить тех, кто в первый раз дал мне почувствовать – даже в этом аду – настоящую силу дружбы. Надеюсь, и они чувствуют обо мне то же. Один за всех, и все за одного!

В целом, период с марта по сентябрь 1942 года, описанный в этой главе, был крайне сложным для Советского Союза. После успешного контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года Красная армия продолжила наступательные операции в зимний период 1942 года и позднее. Однако эти операции не принесли значительных успехов и даже обернулись харьковской катастрофой в мае 1942 года. В ответ немецкое командование в июле развернуло крупное наступление на юге. Целью наступления был захват нефтяных месторождений Кавказа и контроль над Волгой. В сентябре 1942 года немецкие войска подошли к Сталинграду. Начались ожесточенные бои за город. Несмотря на большие людские потери и захват немецкими войсками значительных территорий на Кавказе и приволжских степях, страна сумела удержать стратегически важные районы и продолжить борьбу.

Выжить в преисподней

17 сентября 1942 года — 31 декабря 1942 года

Наш барак набит людьми до предела. Сорок пять трехэтажных нар теснятся вдоль стен, посередине – длинные столы со скамьями и две металлические печи. Днём нас мучают немцы, а ночью – клопы. Смрад просто невыносим! Матрасы набиты смесью бумаги и древесных опилок.

Спецовка у нас такая же, как матрасы, – сделана из бумажно-древесного материала, а обувь на толстой деревянной подошве. Когда ходим, вся барачная жизнь наполняется треском, словно играем на кастаньетах. Наши брезентовые брюки настолько твёрдые после стирки, что их не вешаем сушить – просто ставим у стены, пока не высохнут. Всё моем и стираем в одном длинном корыте, и нас так много, что в уборную теперь всегда стоит очередь.

Питаемся по-прежнему в заводской «столовой», немного подальше от женского общежития. Там ставят огромный бак с баландой, и мы стоим в очереди с мисками, прижимаясь к стене. Полицай одному наливает суп, а другого, бывает, ни за что ни про что, ударит черпаком по голове и оставляет без еды.

Строят ещё два барака параллельно нашему. Один будет для женщин, а второй – для кухни и столовой.

Из полицейских мы знаем только Янсона по имени. Остальных наградили прозвищами, и только один удостоился человеческого имени – Пиня, названный так за сходство с комическим героем фильма «Искатели счастья».

Еда становится всё хуже, и гиздопар стало добывать ещё труднее. Это превратилось в ежедневную борьбу, из которой мы выходим проигравшими. Усталость валит с ног, и иногда желание упасть на нары сильнее даже голода. Лишь коснёшься подушки – и сразу проваливаешься, не в сон, а в забытьё.

Вчера отправили очередную партию больных в госпиталь. Немцы строго следят за медицинскими показаниями. Приезжает фургон с рентгеновской установкой, через который всех нас быстро прогоняют, а потом составляют списки тех, у кого нашли туберкулёз. Больных сразу же отправляют в госпиталь.

Бомбёжки стали такими частыми, что нет времени на сон. Дневные налёты – редкость, а ночью невозможно спрятаться, чтобы вздремнуть. Мы пытались прятаться под матрасами, но теперь и там находят. Вчера, когда загудели самолёты и нас погнали в убежище, я спрятался там. Но Пиня нашёл меня и, размахнувшись палкой, успел ударить по руке, прежде чем я успел перепрыгнуть на другую сторону. Теперь у меня большая синяя шишка выше локтя.

Сегодня мастер забрал меня с тачки и отвёл к станку – делать стержни. Я чувствовал себя ужасно: теперь я помогаю немцам создавать оружие, которое убивает наших людей. Везти кокс не казалось так отвратительно, но изготовление стержней – это прямой вклад в гибель моих соотечественников. В смятении я набивал формы, а совесть говорила мне: «Что ты делаешь?! Ты же теперь друг Гитлера, Сашка!»

Чтобы как-то справиться с этим, я вышел из цеха, порезал пальцы безопасной бритвой и пошёл к мастеру, соврав, что пытался выдернуть провод из земли. Он обозвал меня «Holzkopf» – деревянной головой – и отправил на проходную к охраннику. Там тоже называли «Holzkopf», перевязали рану и отправили обратно в цех, где я кое-как проработал остаток дня одной рукой. Но морального облегчения это не принесло.

Я работал с Кенером – стариком, который привёл меня в цех. Он жуёт не табак, а странную плитку из кофе-табак, которая выглядит отвратительно. Каждый раз, когда он сосёт кусок, периодически пытается выплюнуть тягучую, чёрную слюну. После этого, словно ничего не про-

изошло, он продолжает сосать дальше. Но самое странное в нём то, что каждый день он складывает в свой портфель два кирпича и уносит их домой.

18 сентября 1942 года

Я рассказал ребятам о своей перевязанной руке. И сам понимаю, что зря порезал себя. Миша, как всегда, безжалостен в своих оценках, назвал меня страусом, прячущим голову в песок. Я попытался оправдаться перед ним и собой, говоря, что это был не просто акт малодушия или глупости, а жест протеста, желание хоть как-то выразить своё несогласие с тем, что нас заставляют делать.

Но, если честно, всё это теперь и мне кажется лишь жалким самооправданием. Ведь ничего я этим не изменил, и никто даже не заметил моего «протеста», кроме тех, кто считает меня теперь ещё большим глупцом.

28 сентября 1942 года

Голод толкает людей на самые отчаянные поступки. На прошлой неделе несколько ребят, во главе с Иваном Мельником, решились на то, что в обычных условиях было бы немислимым – ограбить немецкую кладовую на заводской кухне. Кухня находилась напротив нашей столовой, через дорогу, и добраться туда, казалось, было невозможно.

Через обычный вход было не пройти: три запертые двери – столовой, кухни и кладовой – защищали припасы. Но Иван придумал план: пробраться через подвальное окно, где были замурованы металлические прутья. Сам он туда пролезть не мог, поэтому решил взять с собой мальчишку Колю. Его обвязали верёвкой и спустили в кладовую. Им удалось стащить картофель и несколько банок сгущённого молока.

Утром повар обнаружил пропажу и сразу сообщил Янсону. Карл, который всегда держит меня в курсе новостей и иногда делится тем, что узнаёт от надсмотрщиков, рассказал, что полиция проводила тщательный обыск. Они осмотрели все двери и замки, но ничего взломанного не нашли, а пролезть через окно им казалось невозможным. Обыск в нашем бараке ничего не дал, и даже повар оказался под подозрением.

Но всё же ребята не смогли долго скрывать своё преступление. У Коли, который переел, началось сильное расстройство желудка. Один из полицаяв сразу заподозрил, что еда могла быть краденой, а другой предположил, что Коля пролез в окно. Янсон вызвал Германа для допроса, и тот привел Колю.

Позже Коля рассказал нам, как Герман переводил слова Янсона. Он утверждал, что всё уже знает, и ему просто интересно, кто дал Коле молоко. Герман уговаривал Колю признаться только ему, пообещав таблетку от боли, но, конечно же, никакой таблетки так и не дал.

Ребят жестоко избили, привязав к скамейке, пока они не потеряли сознание. Один из них кричал: «Фашисты, свиньи, собаки!» После избиения его бросили в карцер, а сегодня увезли на каком-то трёхколёсном автомобиле, говорят, в госпиталь.

Боюсь, что он уже не выживет.

Фашист Карл Людт – мой дорогой друг

2 октября 1942 года

Сегодняшнее событие поразило меня неожиданностью и глубоко встревожило. Последние две недели я работаю в ночную смену с Костей, Антоном и Тимофеем, и, разумеется, с Карлом. Я уже много писал о нём, но сейчас мне хочется рассказать подробнее.

Карл – человек с худощавым, но энергичным лицом и приятным, открытым взглядом своих улыбающихся голубых глаз. Он удивительно простой и приветливый, легко идёт на контакт, и его добродушие подкупает. Немного хромает, слегка тянет левую ногу, и, наверное, поэтому не попал под мобилизацию в вермахт. Каждый день он приносит бутерброды, а иногда даже сигареты, и это воспринимается не как милостыня или подачка, а как жест дружбы. Карл понимает нашу усталость, даже когда я не жалуясь на неё. Иногда, когда у нас появляются свободные минуты, мы с ним разговариваем – о войне, политике, обо всём на свете. Моя ломаная немецкая речь не мешает нашему общению. Он отлично понимает меня, даже когда я говорю на примитивном уровне: одно число, без падежей и времён. И что удивительно – я тоже понимаю почти всё, с каждым днём всё лучше.

Карл часто рассказывает интересные истории. Например, он часто бывал во Франции до войны. На прошлой неделе он рассказывал о том, что во Франции квартплата определяется не площадью пола, а площадью окон – это меня очень удивило. Также он как-то говорил о посещении французских публичных домов. Мы не всё поняли, особенно то, как там девочки умудрялись улаживать безнадёжных старичков, но слушали и посмеивались, притворяясь, что понимаем.

Уже несколько раз по ночам мы с ним и ребятами копаем картошку на огородах вокруг завода. Понимали, что обижаем немецкие семьи, но голод толкает на многое. Работали мы втроём: Антон, Костя Попман и я. Тимофей ушёл из нашей «бригады», возможно, потому что Карл никогда не делился с ним бутербродами. Может, невзлюбил его?

Последние две ночи подряд – вчера и сегодня – мы снова копали картошку, естественно, с ведома Карла. Мы накопили два мешка, и по его совету спрятали их в цеху под пустой бочкой, где хранятся кисти и ведро с графитовым раствором для подкраски стержней. И правда, кому придёт в голову искать там картошку?

Карл – человек интересный, и я был с ним откровенен. Мы даже спорили о Гитлере. Он пытался убедить меня, что Гитлер хороший человек, и что трудности, которые испытывают иностранные рабочие, связаны с тем, что его указания неправильно интерпретируют на местах. Я не мог промолчать. Сказал Карлу, что он заблуждается, что Гитлер – жестокий человек, по его приказам убивают, сжигают и вешают евреев, коммунистов, комиссаров, мужчин, женщин, стариков и детей. Молодёжь угоняют в Германию, а деревни сжигают дотла.

Карл на всё это только улыбался. Сказал, что после войны всё перемешается: часть немцев поедет в Россию, а часть русских – в Германию. Я возражал, что этому не бывать, потому что победит Сталин. Он смеялся и говорил, что Гитлер убьёт Сталина, а война закончится на Урале, где немцы встретятся с японцами.

Я доверял Карлу, считал его порядочным человеком. Миша «Кардинал» постоянно упрекал меня за это доверие, говоря, что Карлу верить нельзя, что он нас подкупил бутербродами и, по сути, мы его совсем не знаем. «Он такой же враг, как и все немцы,» – говорил Миша. – «Его доброта может обернуться враждебностью в любой момент». Я спорил с ним. Для меня Карл был добрым, порядочным человеком. Я не верил, что он действительно думает так, как говорит о Гитлере. Я был уверен, что Карл не способен на предательство. Ведь я давно высказывал своё враждебное отношение к нацистам, и, если бы он был провокатором, меня бы давно уже забрали в гестапо.

Но сегодня меня поразило нечто, чего я никак не ожидал. Карл пришёл на завод в новом тёмно-сером костюме, и в петлице его пиджака красовался круглый значок нацистской партии. Я потерял дар речи и не смог ответить на его приветствие. А он, улыбаясь, молча прошёл мимо меня.

Это открытие разрушило всё то доверие, что я питал к нему. Я стоял, поражённый, и в голове вихрем проносились вопросы. Как он мог? Что это значит? И был ли он тем человеком, которым казался все эти месяцы?

8 октября 1942 года

На следующий день после этого шокирующего эпизода Карл подошёл ко мне в цеху. Его лицо светилось дружелюбием, но теперь я чувствовал в этом что-то показное. Он хлопнул меня по плечу и, с лёгкой усмешкой, сказал: «Вчера я тебя здорово напугал, да? Ты даже не поздоровался!» Я с трудом сглотнул ком в горле и, стараясь держаться спокойно, ответил: «Да, напугал. Но тебе я верю, а вот твоему значку – нет».

Голод и усталость, казалось, уже высасывают из меня последние силы, но, когда удаётся заставить себя писать, это приносит странное удовлетворение.словно маленькая победа над собой и обстоятельствами. Ведение дневника стало для меня способом не только сохранить воспоминания, но и укреплять свою волю, бороться с отчаянием.

Карл действительно кажется человеком добрым, милосердным. Он постоянно проявляет к нам участие и помогает, так, как не делают другие немцы. Иногда мне кажется, что его доброта прикрыта членством в нацистской партии, словно этот значок на его пиджаке служит ему своеобразным щитом: мол, его не заподозрят в симпатиях к русским, ведь он «настоящий» национал-социалист.

Как-то мы заговорили с ним о его партийности. Я сказал: «Ну какой ты нацист, если так относишься к нам?» Карл ответил: «Доктор Брюкман, директор, и герр Лендер, главный инженер – вот настоящие мерзавцы, тупые солдаты. А я *echt* (настоящий) национал-социалист». Он уверял меня, что я напрасно плохо думаю о Гитлере и его партии. «Гитлер стал канцлером и ликвидировал многомиллионную безработицу в Германии. Люди перестали страдать, он придумал, как занять всех работой – дороги, стройки по всей Германии».

Я возразил: «Эти заслуги ничтожны по сравнению с тем морем крови, которое он пролил. Миллионы загубленных жизней, гибель немцев – всё это неизбежно впереди».

Я всё же уверен, что Карл вступил в партию скорее по расчёту, нежели по убеждению. В отличие от других немцев, он не испытывает такого страха перед режимом. Многие настолько запуганы, что не только не разговаривают с нами, но и боятся даже здороваться на людях, постоянно оглядываются.

Сегодня, по совету Карла, мы закончили работу пораньше. Благодаря его смелости и отсутствию надсмотрщиков, нам удалось помыться в немецкой бане – туда нам категорически запрещено заходить. Моечное помещение находится на втором этаже, а на первом этаже – буфет для немцев, куда нас тоже не пускают. Но иногда удаётся незаметно проскользнуть и туда, и потратить небольшие деньги, которые мы зарабатываем на каторжной работе.

Вчера произошло невероятное: наши ребята умудрились украсть два мешка гиздопара и спрятали их на складе моделей. Немцы пришли в ярость. Они хватили людей наугад, избивали с привычной жестокостью, но ничего не смогли выяснить. Нам пришлось пойти на такой риск, потому что добывать муку малыми порциями стало слишком опасно. Но нам повезло – удалось проверить это безнаказанно!

Однако впереди маячит новая угроза. Немцы начали возводить новую кирпичную кладовую в дальнем конце цеха. Это вызывает тревогу – что, если они действительно смогут нас лишить доступа к муке? Пол уже залили бетоном – очевидно, они опасаются подкопа. Ирония в том, что ещё недавно они навесили огромный замок на старую кладовую, но сзади, под крышей, стенки не было вообще – можно было хоть на телеге заезжать!

Заметно, что немецких самолётов в небе мы почти не видим. Вероятно, все их силы брошены на Восточный фронт. Зато английские бомбардировщики прилетают часто, и, надо отдать должное, система оповещения о налётах у немцев работает чётко. Но есть странность: англичане регулярно бомбят жилые кварталы в Саарбрюккене, но почти не трогают заводы. На наш завод упала лишь одна небольшая бомба, килограммов на двадцать, и несколько зажигательных, большинство из которых не сработало. Наш завод довольно большой и не заметить его сверху просто невозможно. Цель такого поведения англичан нам не понятна.

Теперь, когда звучит тревога, нас пересчитывают перед тем, как загонять в убежище. Остаться в бараке уже невозможно. Женщин отправляют отдельно, в подвал под административным зданием. Рядом находится завод «Bromberg Werke», где делают электродвигатели. Его бомбы тоже обходят стороной, как и многие другие заводы. Сигизмунд рассказал, что такая же картина наблюдается и на других заводах, куда его забрасывает работа.

10 октября 1942 года

Перечитывая свои последние записи, я был поражён, сколько в них ошибок и неточностей. Но главная проблема – это не просто ошибки, а незавершённость описания, неспособность передать всю сложность и тяготы нашего быта. Сначала я оправдывал это голодом и усталостью, но потом честно признал – у меня не хватает способностей к письму. Сигизмунд, услышав мои жалобы, возмутился: «Ты что, нас писателями считаешь? Это же для себя, для саморазвития». И ведь он прав – я пишу, чтобы держаться на плаву, чтобы хоть как-то сохранять ясность ума.

Каждое утро в пять часов включают свет. Дежурный полицейский с грохотом распахивает дверь и начинает вопить: «Aufstehen!», размахивая своей палкой, разгоняя сонных, незащищённых заключённых. Пока все пытаются умыться, дежурные приносят кофе-эрзац в тяжёлых металлических канах и дневную норму хлеба – один батон на четверых.

Начинается настоящая церемония дележа хлеба. В каждой четвёрке уже есть свои «специалисты», которые искусно делят батон. Один отворачивается, чтобы не видеть, как режут, а разрезавший спрашивает: «Кому?» – и так трижды, пока каждый не получит свою четвертинку. Последняя четвертинка идёт тому, кто делил батон. В бараке поднимается гул, напоминающий шум восточного базара: «О-о-му-му-у-у». Это ритуал, в котором даже жесточайшие условия не могут разрушить чувство справедливости.

Большинство съедает свою пайку сразу – они о ней мечтали со вчерашнего ужина. Некоторые пытаются оставить кусочек на обед, но обычно этот кусочек исчезает ещё по дороге на работу. А работа начинается под постоянным напором: «Schneller! Schneller!» – кричат надсмотрщики, иногда подгоняя палками, иной раз просто ударяя для порядка.

На проходной нас встречает главный охранник Юнг – огромный мужчина с рыжими руками, похожими на лапы. Его фигура в белом костюме и чёрных крагах кажется олицетворением карикатурного фашиста с плакатов: массивное, одутловатое лицо, свиные глазки. Каждое утро он стоит, как хозяин мира, наблюдая за тем, как мы, согнутые и осунувшиеся, проходим мимо.

На заводе начинается обычная работа. Вначале нет сил ни на что, кроме как двигать руки и ноги, будто мы механические куклы. Патриотизм и ненависть к врагу остаются внутри, они не могут выйти наружу. Ведь вся наша работа – это помощь врагу, но единственный судья наших действий – наша совесть.

Сегодня было одно неожиданное событие. Нам выдали газеты: русскую «Новое слово» и украинскую «Українець», а также журналы: русский «На досуге» и украинский «На дозвіллі». Содержание – сплошная антисоветская пропаганда, перемешанная с антисемитизмом и неумным стремлением посеять вражду между, как они называют, «кацапами» и «хохлами». Павлик читал вслух и тут же беспощадно комментировал: «Вот ведь галиматья!» А Миша, сжав кулаки, прошептал, что все эти «газетки» надо бы уничтожить, но при суке Германе это невозможно.

Мы слишком сплочены в наших страданиях, чтобы между нами могли посеять рознь. На родине за слово «жид» давали три года, а здесь, в условиях полной безнаказанности, я его не слышу. Нас не разделяют никакие национальные границы. Мы чувствуем себя людьми, оторванными от родины лишь на минутку, и это чувство поддерживает нас в дни самого тяжёлого голода и страха.

Миша особенно ненавидит Германа после того, как тот выдал Колю и ребят. Павлик рассказывал, что Герман якобы клялся, что Коля сам всё рассказал Янсону, но Миша, сверкнув глазами, ответил: «Можно быть наивным, но нельзя быть дураком».

15 октября 1942 года

Снова появились газеты. Их содержание – это чистая антисоветская пропаганда, настолько неуклюжая, что даже не знаешь, плакать или смеяться. Павел читал их и беспощадно, очень смешно комментировал. Пожалуй, никто бы так не смог. Он умудряется превратить эту убогую ложь в нечто комическое, хотя бы на несколько минут отвлекая нас от тяжёлой действительности.

Вчера к нам в барак пожаловал сам Янсон. Вошёл так, будто просто решил узнать, как мы живём. Опасаясь подвоха, мы осторожно начали жаловаться на питание – конечно, не слишком резко, чтобы не нарваться на наказание. Янсон покивал и пообещал, что сделает всё возможное, чтобы улучшить наш рацион. Но мы-то знаем, что это всё ложь. Слова его – пустой звук, как и всегда.

Может, он думает, что мы уже успели съесть два украденных мешка гиздопара и теперь замысливаем очередную вылазку? Только вот украсть сейчас практически невозможно. Пока новую кладовую не достроили, полицаи дежурят в сарае круглосуточно.

Голод и страх сделали нас профессиональными ворами и актёрами. Мы научились красть и притворяться невинными «овечками», хотя внутри кипим от ярости и отчаяния. Ах, мамочка, если бы ты увидела меня сейчас, ты бы не узнала своего сына. Я стал совершенно другим. Ещё недавно был беспомощным, растерянным, но голод и нужда научили меня выживать, прикидываться и избегать побоев.

Иногда мне кажется, что мне просто везёт, или что-то оберегает меня. А может, я действительно стал хорош в этой игре, где главное – не выдать себя, не подать виду.

18 октября 1942 года

Воровство гиздопара и картошки стали для нас единственной возможностью выжить. Голод и отчаяние вынуждают идти на этот риск, несмотря на возможные последствия. Одни действуют хитрее, другим меньше везёт. Вчера поймали двух человек – немцы давно жаловались на пропажи картофеля, и полицаи устроили засаду. Бедолаг жестоко избили и посадили в карцер. А сегодня угодили туда ещё двое – Саша Милютин и Жора Богдан. Их били дважды: ночью и утром.

Саша позже рассказывал, как всё произошло. Они с Жорой решили выкрасть картошку под покровом ночи. Когда надсмотрщики ушли перекусить, они незаметно вышли из цеха. В полной тьме, без единого слова, накопили мешок картошки и двинулись к забору. Вдруг из кустов выскочил кто-то, фонарик вспыхнул в самый неподходящий момент. Саша, не раздумывая, ударил светившего в лицо – тот упал, и фонарик выпал из рук. Ребята быстро перебрались через забор и сами перелезли следом. Но Жора в последний момент почувствовал резкий удар по пальцам.

Когда ночью в цех влетели Пиня и Гюнт, они сразу начали осматривать наши руки. Даже с Карлом разговаривать не стали. Прибежали запыхавшиеся, с лицами, искажёнными яростью, обыскали нас и так же стремительно убежали. Карл ничего не понимал, как и мы. По разбитым пальцам они вычислили Жору Богдана и забрали его в карцер. Его били до тех пор, пока он не выдал Сашу. Я не знаю, как бы я повёл себя на его месте. Смог бы я выдержать такое? Меня ведь ещё так сильно не били. А ведь укоры совести могут оказаться страшнее физической боли.

Саша Милютин – по-настоящему смелый и решительный парень. Сейчас он лежит на животе, его избили так, что едва дышит. Когда мы возвращались с ночной смены, Юнг, этот жестокий зверь, демонстративно плёл себе плетёшь из электрического шнура и с усмешкой говорил, что «лично побьёт русскую свинью, осмелившуюся поднять руку на немца». Сашу привязали в карцере к скамье, положили мокрую тряпку на спину, чтобы не лопалась кожа, и Юнг бил его, пока не выбился из сил. Герман потом рассказывал, что они ждали, когда Саша начнёт кричать, но он молчал. Они думали, что он потеряет сознание, но он выдержал.

Сложно представить, какие боли он сейчас испытывает, но при этом спокойно разговаривает с нами. Поистине мужественный человек.

28 октября 1942 года

На прошлой неделе гиздопар перевезли в новую кладовую. Теперь это целая крепость: толстые кирпичные стены, бетонная крыша с массивным люком, открывающимся изнутри, и тяжёлые металлические двери с внутренним замком. Ключ всегда у мастера Беспалого. Интересно, что Беспалый не такой суровый, как большинство немцев. Он даже проявляет доброту к нам, русским, работающим у него. Иногда может позволить взять немного гиздопара.

Для работы он лично смешивает гиздопар с песком в пропорции: 10 вёдер гиздопара на 3 ведра песка. Сначала эта смесь считалась несъедобной, ведь песок казался неотделимым, и все попытки избавиться от него провалились.

Но со временем, из-за голода, мы начали есть гиздопар прямо с песком. Мы научились пережёвывать его так, чтобы песок не хрустел на зубах, не сводя челюсти. Страх перед аппендицитом, который сначала нас пугал, со временем исчез. Гиздопар в лагерь мы не носим, едим его на месте, замешивая на солёном кофе-эрзац, пока смесь не становится густой. Если удаётся, съедаем до килограмма в день.

Сегодня в лагерь привезли двадцать женщин и шестерых мужчин. Теперь нас стало 252 человека: 140 парней и 112 девушек.

Дневник я прячу в тайнике за досками панели – на всякий случай. Сигизмунд усмехается, называя это «мальчишеством», мол, игра в сыщиков. «Если захотят – найдут», – говорит он. Но я не стал упоминать, что идею спрятать записи подсказал Миша, наш «Кардинал». Для меня он – непререкаемый авторитет, и его советы всегда на вес золота. Я под его влиянием (и не только я) становлюсь смелее, умнее, хитрее, а главное – всё более самостоятельным. Я учусь быть предусмотрительным и держать язык за зубами.

Тем временем в немецких газетах пишут о больших сражениях под Сталинградом. Эти новости волнуют нас больше всего. С каждым днём мы надеемся на скорую развязку и конец всей этой бойни.

К середине 1942 года возникла непосредственная угроза Сталинграду (ныне Волгограду) и Северному Кавказу. 23 июля 1942 года немецкие войска начали решительное наступление. Началась Сталинградская битва, характеризовавшаяся небывалым напряжением и мужеством с обеих сторон. Всего в Сталинградской битве участвовало около 1 700 000 человек с советской стороны, а немецкие войска вместе с союзниками насчитывали около 1 500 000 человек. Сражение разделилось на два этапа: оборонительный (лето – осень 1942 года), когда советские войска героически удерживали город, и наступательный (зима 1942 – 1943 годов), когда Красная Армия перешла в контрнаступление и окружила 6-ю немецкую армию под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса.

18 ноября 1942 года

Чудо! Настоящее чудо! Утром нам дали целый батон хлеба на троих. Это казалось почти невероятным – целый батон! Мы даже не сразу поверили своему счастью. Такой «праздник»

для нас – словно маленькая победа в этой бесконечной борьбе за выживание. Как будто жизнь на миг перестала быть настолько суровой.

А вечером приехала какая-то проверяющая комиссия. Люди в строгих костюмах походили по лагерю, оглядели всё с таким видом, будто пытались разобраться в нашей жизни.

В какой-то момент один из них даже спросил, как нас кормят. Вопрос повис в воздухе – никто не хотел быть слишком смелым, но и промолчать было трудно. Мы осторожно ответили, что кормят плохо, хотя, возможно, проверяющим не так важно было узнать правду, как просто завершить свою формальность.

19 ноября 1942 года

Сегодня снова дали батон, но уже на четверых. Мы слишком рано обрадовались. В хлебе – опилки, как нам объяснили, для «сохранения свежести». Но разве нам от этого легче? Всё равно голод ощущается так же остро. К тому же, кофе-эрзац, который нам подают, кажется, тоже сделан из тех же самых опилок – едва ли его можно назвать настоящим напитком.

На обед, как и полагается, подали суп из гнилой брюквы, к которому я так и не смог привыкнуть. Вкус и запах этого варева вызывают у меня отвращение, и я по-прежнему не могу заставить себя его есть. А на ужин – чёрная, вонючая картошка в мундирах, по четыре-пять маленьких картофелин на человека. Такое впечатление, что это уже предел «щедрости» лагерного рациона.

Хлеб, конечно, остаётся самым ценным продуктом. Каждое утро его деление – целый ритуал. Как только батон разрезают, по всему бараку раздаётся знакомый возглас: «Кому?» И все ждут своей очереди, потому что от этого маленького куска зависит многое.

21 ноября 1942 года

В нашем цеху отливают снаряды, и работа эта требует точности и усилий. Для этого требуется изготовление на станке специальных стержней, называемых кернами, используемые для формирования отливки снаряда. Немцы требуют от нас производить по 100 стержней за смену. Они сами изготавливают около 120, но мы, измученные, еле делаем по сорок. Наша выработка стала полем ожесточённой борьбы – нам угрожают лишением хлеба, карцером и концлагерем за невыполнение нормы. Я, Антон и Костя договорились держаться вместе, как одна стена. Но есть один предатель – Тимофей, который выполняет норму и делает по 60 кернов. Вероятно, именно из-за этого он ушёл в другую смену.

Когда я почувствовал, что наша стойкость может дать трещину, я сказал Антону и Косте, что каждый волен поступать так, как хочет, но надо помнить: каждый снаряд, который мы делаем, убивает наших людей.

Я попросил Павлика поговорить с Тимофеем. Они были привезены одной партией, и Павлик имел на него влияние. Но, к сожалению, разговор ничего не дал. Тимофей, кажется, не может понять или не хочет понять наш взгляд. Ему важна только собственная выгода. Костя, его земляк, рассказал, что отец Тимофея был старостой в их селе и что сам Тимофей приехал сюда добровольно, чтобы заработать. И он не скрывает этого.

Пока нам не платили, Тимофей работал, как и все. Но как только Янсон объявил, что зарплата будет зависеть от выработки, Тимофей сразу же проявил свою продажную натуру. Однако, к счастью, таких, как он, в нашем лагере больше нет. Только он один пошёл на это, а мы держимся вместе и сопротивляемся, насколько хватает сил.

22 ноября 1942 года

Сегодня на обед вместо привычной баланды из гнилой брюквы дали пшеничный суп. Это удивило всех, и похоже, что всю брюкву мы уже доели. После того как гиздопар убрали в новую кладовую, обыски стали реже. Сегодня Карл ухитрился выпросить у Беспалого полтора стакана гиздопара, сказав, что ему нужно для поклейки обоев дома. Я без особой тревоги понёс его в лагерь – мы с Володей собирались после ужина испечь лепёшки. Но на входе меня неожиданно остановил полицай, ощупал, и обнаружив пакет, повёл меня в полицейскую комнату.

Он велел мне развернуть пакет, но я отказался. Тогда он ударил меня ногой в бок, и я бросился наутёк. Полицай успел дотянуться и ударил меня сзади по правому уху. Меня на миг пошатнуло, но я тут же вскочил и побежал в барак. Полицай не погнался – так уж здесь повелось: если удалось убежать, то удача на твоей стороне. Ребята заметили кровь, текущую из уха, и кто-то предположил, что лопнула барабанная перепонка. Мы с Володей пошли к рукомойнику. Он набрал воды в ладонь, и я опустил туда ухо. Закрыв рот, зажал нос и сделал выдох. Сквозь воду побежали пузырьки – перепонка действительно была повреждена. Жора, как всегда всё знающий, сказал, что это не страшно и что максимум через месяц всё заживёт.

В лагере набралось 17 больных, и их повели к врачу, который живёт недалеко от лагеря. Слышал, что доктор – старый, сердитый, и на больных ему наплевать. Теперь только он может освободить от работы, но это не мешает надзирателям продолжать мучить больных в лагере.

Мы получили новые газеты. Особенно приятно было читать о неудачах немцев в Северной Африке. На Кавказе и под Сталинградом тоже происходят серьёзные события. Немцы пытаются выставить свои поражения как стратегические манёвры, а в газетах всё больше хвастаются успехами подводных лодок. Наверное, опять врут – мы уже не раз ловили их на лжи.

Ночью нас трижды гнали в убежище. Это жутко изматывает, лишая сна, но всё же приятно видеть, какими частыми становятся и дневные тревоги. Позавчера во время такой тревоги мы с Володей успели сварить котелок картошки на модельном складе. Над нами, под невероятный гул самолётов и жалкие выстрелы зениток, шли бесконечные вереницы бомбардировщиков. Зенитки испещряли небо белыми облаками разрывов, но самолёты шли так высоко, что казались недостижимыми.

Мы с Володей едва могли слышать друг друга. Самолёты шли прямоугольными группам, по 25 в каждом. В тот раз над нами пролетело 15 таких групп. И это даёт надежду – война, кажется, наконец-то пошла в правильном направлении.

24 ноября 1942 года

Мысли о маме не дают покоя, особенно перед сном, когда я остаюсь наедине с собой. Постоянно переживаю за её судьбу в оккупированном Харькове. Эти тревоги буквально разрывают душу. Я видел столько ужаса за те пять месяцев, что провёл в оккупированном Харькове – казни, расстрелы, виселицы. Повешенные, замёрзшие на морозе, раздетые, с табличками «Я партизан» или «Я вор», болтались на ветру.

Это устрашение, демонстрация силы, чтобы держать город в страхе. Расстрелянные лежали прямо на улицах, лицом вниз, вмерзшие в лёд, с пулевыми отверстиями в затылках, пока их тела не забирали. Проходить мимо было невыносимо, но это было повсюду, почти на каждой улице. Это не просто преступления – это целая система запугивания и уничтожения.

Я часто вспоминаю, как по городу проезжали крытые машины. Внезапно они останавливались, из них выскакивали автоматчики и начинали хватать прохожих. Людей строили в шеренги, и офицер, важный, молодой интеллигент, в чёрных перчатках, ходил вдоль строя и стеком указывал на тех, кто станет следующей жертвой. «Eins, zwei, drei...» – считал он, потом, кивнув автоматчику, приказывал: «Raus!» – и не успевшие понять, что происходит, несчастные оказывались под стеной. «Feuer!» – командовал он, и через мгновение их жизни обрывались. Некоторые счастливики, на которых не пал выбор, остаются стоять, окаменевшие.

Кто-то из немцев кричит: «Это наказание за убитого немецкого солдата!» Потом они быстро садятся в машины и уезжают. Все это происходило на моих глазах, и я каждый раз замирал от страха, что кого-то из моих близких тоже поставят к стене. Однажды из очереди выдернули нашего соседа, и лишь по счастливой случайности он остался жив.

Но тот случай, когда эсэсовец остановил меня на улице Пушкинской, заставил меня особенно почувствовать всю свою уязвимость. Я тогда просто шёл по улице, когда ко мне под-

скочил эсэсовец с пистолетом, приказал идти вперед и, усмехаясь, пытался меня успокоить: «Nicht бежать, nicht убивать!» – как будто от этого мне могло стать легче.

Он привёл меня во двор и заставил лопатой кидать уголь в подвал, поставив рядом со мной вооружённого солдата. На дворе было холодно, а я, бросая уголь, промок до нитки. Автоматчик стоял рядом и целился в меня каждый раз, когда я замедлялся, давал понять, что убьёт, если перестану. Я был истощён, уже не чувствовал рук, бросал уголь как механическая кукла, почти без мысли, просто чтобы выжить. Только когда меня сменили другой жертвой, я смог уйти, и то на полусогнутых, едва дыша.

Всё это стоит перед глазами, когда ночью выключается свет в бараке, и на меня наваливается одиночество и бессилие. Мысли о маме не дают уснуть: «Как же ты там одна? Как ты справляешься? Жива ли ты, бедная? Голод, холод, всюду убийцы. Ты же такая беспомощная, такая неприспособленная...» И эти вопросы не покидают меня. Я живу, отягчённый не только своими страданиями, но и мыслями о том, каково ей, там, в Харькове, среди всего этого ужаса.

25 ноября 1942 года

Вчера завершили строительство барака для женщин, и их переселили туда. В отличие от нашего общего пространства, их барак разделён на отдельные комнаты. Это создает впечатление некоторого уюта и изолированности, чего у нас, конечно, нет. У нас в бараке постоянный гвалт и невыносимая вонь, от которой просто некуда деться.

Между нашими бараками возводят длинный блок, где будут помывочная, баня, кухня, столовая, дежурная комната и душевая. Всё это добавляет немного порядка в хаос, но колючая проволока всё равно остаётся не только внешней оградой, но и внутренним барьером, который теперь разделяет нас и женщин даже внутри лагеря.

Сегодня утром, к удивлению, с хлебом нам выдали по маленькому кусочку какого-то жира. Это первый раз за все восемь месяцев пребывания здесь, когда нам дали хоть что-то подобное. Однако, назвать это жиром – слишком смело. По вкусу и консистенции это скорее напоминало техническую смазку, но, несмотря на это, всё съели без раздумий. Каждая крошка еды здесь становится ценной.

Вечером произошло неприятное происшествие. Пятеро ребят, по слухам, пробрались на женскую половину лагеря. До сих пор никто не может понять, как полиция узнала об этом, но их всех быстро нашли и жестоко избили. Это наказание было показательное и жестокое, как и всё здесь. Остаётся только догадываться, что на самом деле они пытались сделать на той стороне.

Теперь у нас появилась так называемая «Kranken Zimmer» – комната для больных. В подвале бывшего женского общежития поставили кровати, и туда перевели пятьдесят человек, которые не могут уже работать из-за болезней. Хотя это место называют «больничной палатой», всем ясно, что это скорее комната умирающих, а не тех, кто выздоравливает.

29 ноября 1942 года

Сегодня воскресенье, но, как и всегда, мы работали до двух часов дня. Ходят слухи, что городская полиция оформляет на нас какие-то документы для свободного выхода из лагеря. Чуть позже нам выдали матерчатые квадратики с буквой «OST», что означает «Восток», и велели пришить их к верхней одежде. Это было странное чувство – носить такой знак, как клеймо. Затем нам раздали несколько пропусков, по одному на 20 человек, и выпустили нас из лагеря на два часа. Мы пошли группой, и это на мгновение дало иллюзию свободы. Была невероятная мысль – что мы идём без конвоя. Казалось, вот-вот начнёт кто-то окликать или останавливать нас.

У трамвайной остановки мы разошлись, договорившись встретиться через два часа. Я пошёл вместе с Сигизмундом, Антоном, Костей и Николаем Беспорточным. Сигизмунд, благодаря своему знанию немецкого, переводил для нас вывески и общался с немцами, если возникала такая необходимость. Мы зашли в несколько магазинов, но всё продавалось по карточ-

кам – ничего не удалось купить. Интересно, что по пути мы встретили ребят из другого лагеря – французов и итальянцев. В городе оказалось удивительно мало немцев – может быть, потому что воскресенье. Город был гораздо менее разрушенным, чем мы предполагали. В наших воображениях он уже казался развалинами, но на деле всё выглядело лучше.

Зашли в маленький ресторанчик с надеждой перекусить, но кроме пива-эрзац нам ничего предложить не смогли. Однако в другом ресторанчике нам всё же повезло больше – мы съели по два салата. Конечно, могли бы съесть и больше, но нам отказали.

Свободный выход, если его продолжат давать, открывает перспективы – можно будет побывать у Карла, прогуляться по городу и даже сходить в кино. Мне всегда было интересно, как живут немцы, особенно такие, как Карл, который, кажется, не похож на других.

Янсон сказал Володе, что наш барак разделят на четыре комнаты и даже пристроят две дополнительные. Эта новость выглядела слишком хорошей, чтобы в неё сразу поверить, но услышать такое из уст самого Янсона было неожиданно. Может быть, он действительно неравнодушен к Володе – возможно, его тянет к Володе из-за его светлых волос и голубых глаз. Янсон даже несколько раз менял ему деревянные башмаки и распорядился выдать второй комплект спецовки.

30 ноября 1942 года

В лагере появилась медсестра – рыжая, худая, с совершенно безобразным лицом немка лет тридцати. Её работа заключается в перевязке при производственных травмах. Внешне она производит неприятное впечатление, но нам приходится мириться с любым медицинским обслуживанием, каким бы оно ни было.

Я привёз из Харькова две фотографии, которые всегда были для меня чем-то вроде талисманов – это снимки мамы и Клавы, моей дорогой одноклассницы, в которую я был влюблён. Эти фотографии сопровождали меня всюду, начиная с довоенных лет. Как же я теперь корю себя за то, что доверил одну из них чужим рукам. Зачем мне вообще пришло в голову отдать фотографию Клавы нашему художнику, чтобы он увеличил её?

Наш художник действительно был мастером, его портреты поражали невероятным сходством с оригиналами, и к нему выстраивалась очередь. Мы с ним договорились, что за четыре пайки хлеба он нарисует портрет Клавы в большем размере. Но дело всё затягивалось, и он долго не мог взяться за работу. А сегодня вдруг сказал, что потерял фотографию.

Когда он это сказал, у меня внутри всё словно оборвалось. Я почувствовал, будто потерял не просто снимок, а часть самого себя. Ещё до войны, даже в Харькове, эта маленькая фотография Клавы была для меня дороже всех сокровищ. Теперь же, в этом лагере, она напоминала мне о том, что где-то там, далеко, есть человек, ради которого стоит жить. А теперь, потеряв её, я чувствую себя осиротевшим. Сам виноват. Нельзя было доверять такую реликвию чужим рукам.

1 декабря 1942 года

Мне приснился удивительный сон. Будто я вернулся в Харьков, иду по знакомым улицам. Вокруг всё целое, никаких разрушений, нет следов войны – обычная, мирная жизнь. Иду по городу, а потом оказываюсь в школе, где учился до войны. Сажу за одной партой с Клавой, как это было раньше. И всё как тогда: я по-прежнему боюсь, чтобы она не догадалась о моей любви, и всё так же тяжело осознавать, что она меня не замечает.

Потом я каким-то образом очутился в яслях, на кухне, где мама работала поварихой. Она встретила меня, улыбнулась и сказала: «Я тебя, сыночек, всё время ждала». Я начал рассказывать ей о том, как мы живём здесь, в лагере: о бараках, нарах, голоде, каторжной работе. Мама сочувственно кивала головой, а мне казалось, что мама уже всё знает о чём я рассказываю. И вдруг поймал себя на мысли: «А не сон ли это, что я у мамы?». И в этот момент я проснулся.

Сон был настолько ярким, что, проснувшись, я на миг действительно подумал, что всё это случилось наяву. Но реальность снова ворвалась, грубая и жестокая. Пробуждение оказа-

лось мучительным: всё сразу вернулось – голод, непосильный труд, надзиратели с плётками, бесконечная безысходность. Как светлым и радостным был сон, так ужасным и мрачным было возвращение к действительности.

А в мастерской у Володи произошёл интересный разговор с его немецким коллегой, молодым парнем по имени Эрих. Эрих – добрый человек, хоть и не очень разговорчивый. Но сегодня он впервые поделился чем-то важным. Рассказал, что в конце двадцатых годов вступил в коммунистическую партию Германии, как увлекался партийной деятельностью, как дважды слушал выступления Эрнста Тельмана. Особенно ему запомнилось, как однажды после собрания показывали фильм о Первом Мая в Москве. Он рассказывал, что видел Красную площадь, мавзолей Ленина, на трибуне были члены ЦК ВКП (б), но больше всего он запомнил Сталина.

Однако самым сильным впечатлением для него была многотысячная демонстрация трудящихся, бесконечный поток людей. Потом, с приходом Гитлера, всё изменилось. Фашисты арестовали коммунистов, лидеров партии, а простым членам дали подписать отречение от их взглядов. Эрих рассказал это с горечью. Помимо него, коммунистом был ещё и брат Карла Людта Стефан.

– Но Карл член нацистской партии! Они, наверное, враждуют? – спросил я.

– Нет-нет, он такой же «наци», как и мы с вами, – ответил Эрих.

Когда Володя осторожно сказал Эриху, что нам нужен радиоприёмник, чтобы слушать Москву, выражение его лица мгновенно изменилось. Он замолк, и мы поняли, что наш запрос его напугал. В его глазах мелькнуло что-то вроде паники, словно он осознал, насколько это опасно. Несколько мгновений Эрих оставался в растерянности, но потом, придя в себя, попытался смягчить ситуацию. Он начал выражать сочувствие, возмущался тем, как с нами обращаются, ругал фашистский режим. Однако помочь с приёмником он так и не решился. Страх оказался сильнее его возмущения.

Эрих тихо сказал, что у него жена и дети, и они зависят от него. Любая оплошность может привести к аресту или чему-то ещё хуже. Мы, конечно, не знаем всех ужасов гестапо, но по его виду было понятно: эти люди внушают такой страх, что даже упоминание о возможной помощи русским кажется безумным риском. Уже уходя, Эрих всё же обещал подумать.

Сегодня впервые пообедали в новой столовой в лагере. Конечно, и здесь нас разделили с женщинами – провели осевую линию, за которую запретили переходить, словно боялись, что мы смешаемся. Столы стоят торцами к стенам, длинные скамьи вдоль них, создавая ощущение узкого коридора, хоть и без стен. Кажется, что и здесь каждая деталь продумана, чтобы лишний раз напомнить о нашем положении.

На ужин неожиданно дали по две чайные ложки сахарного песка в небольших пакетах. Это первый раз за всё время, что мы здесь. В голове не укладывается – сахар! Да и маргарин недавно дали. Это словно какая-то игра: то держат впроголодь, то вдруг неожиданно «балуют». Все вокруг недоумевают, чтобы это значило. Может, немцы хотят показать, что могут проявлять «великодушие», или что-то назревает?

3 декабря 1942 года

Среди ночи нас снова выгнали в убежище. До шести утра сидели там, в тесноте и духоте. Едва рассвело, нас вернули в лагерь, дали хлеб и сразу же погнали на завод. Как же хочется, чтобы Черчилль бомбил днём: и лётчикам лучше видно цели, и нам был бы шанс хоть немного выпасться, а может, и работать не пришлось бы.

Саарбрюккен, к счастью, на этот раз не тронули, но в утренней тишине всё же был слышен гул и далёкий рокот бомбёжки где-то на севере. Этот звук одновременно пугает и вселяет надежду: если бомбят, значит, немцам не до нас.

5 декабря 1942 года

Прошлый месяц действительно запомнился важным событием, и я до сих пор удивляюсь, что не записал это сразу. Всё произошло внезапно: из-за уменьшения нормы хлеба женщины отказались выходить на работу. Янсона не было на месте, а полицаи, растерянные и не зная, как действовать, не решались что-либо предпринимать. Тогда на завод приехал сам директор, доктор Брюкеман. Я видел, как он носился по женскому общежитию с пистолетом в руках, наводил его на женщин и кричал так, что они с визгом выбегали наружу. Было очевидно, что Брюкеман вытащил пистолет скорее из страха за свою жизнь, чем из реального намерения кого-то подстрелить. Выглядел он при этом жалко, несмотря на присутствие полицаев, метавшихся вокруг, как свора злых псов.

Всё это происходило у проходной, и когда немцы шли на работу, они с улыбками смотрели на женщин и насмешливо называли их «амазонками». Сцена, конечно, оставила неприятное чувство – насколько легко страх и насилие пронизывают повседневную жизнь.

Сегодня на завод приехал Кархер – тот самый, чьё имя написано на вывеске: «Динглер – Кархер». Как я узнал, Динглера давно уже нет в живых, и только Кархер управляет двумя заводами – нашим и ещё одним в Вормсе, на Рейне. Говорят, Кархер чудом выжил в Первую мировую войну. Солдат, возмущённый его жестокостью, во время боя выстрелил ему в затылок, но пуля прошла навылет через левый глаз. С тех пор он носит чёрную повязку, как пират, и это лишь ожесточило его ещё больше.

Утром по всему заводу тщательно искали остатки окурков, ведь Кархер разрешает рабочим курить только трубку – мол, она не занимает руки. Появился он после обеда, в сопровождении директора и главного инженера. Кархер, высокий и худой, как жердь, шёл между ними, с чёрной повязкой на восковом лице и холодным, пронизывающим взглядом единственного глаза. Говорил он с ними, не поворачивая головы – словно сатана. Тогда я подумал: стрелять надо было не в затылок, а прямо в лоб.

Главный инженер, герр Лендер, шёл рядом с ним – интересный человек, высокого роста, талантливый инженер и наш главный мучитель. Этот человек воплощает силу и холодную расчётливость, всегда одет в светлый плащ, как будто он не один из тех, кто истязает нас.

6 декабря 1942 года

По воскресеньям, если случается чудо и нас выпускают из лагеря, всё равно многие не могут выйти – просто нечего надеть. В спецовке, понятно, в город не пускают. Сегодня Янсон раздавал старые поношенные костюмы. К сожалению, на всех их не хватило. В половине четвёртого выпустили остарбайтеров – теперь обязательно с пришитым тавром «OST», как клеймо. Время до шести вечера – всего два часа, и этого, конечно, мало. Мы бегаем, как угорелые, по ресторанам (или, точнее, по закусочным) в поисках хоть какой-то еды.

В одном месте удалось заказать салат с пивом. В салате было что-то, похожее на сильно вымоченную и размягченную селёдку. Мы так и не поняли, что это было. В другом месте, по карточкам, которые дал Карл, нам подали обед. Мы, конечно, пытались изображать из себя настоящих европейцев, как будто не в голодном угаре, а за полноценным ужином. Нам принесли по маленькой тарелке супа, приятно пахнущего, но, кроме мутной воды, в нём ничего не было. Второе блюдо напоминало порции для маленьких детей – картофельное пюре с тушёной капустой и котлетка, которая выглядела скорее как насмешка над голодными.

Этот «обед» был сущее издевательство для наших appetитов. Мы не смогли даже насладиться вкусом, всё прошло мимо, как если бы мы просто стояли рядом с кухонной дверью и вдыхали ароматы, не касаясь пищи. После обеда, когда карточки кончились, нам удалось съесть по два салата, но на этом всё. Больше не дали. Наши изголодавшиеся тела не насытились, и казалось, что никакого количества еды нам не хватило бы.

Мы вышли из ресторана в кромешную темноту. Я никогда не видел такой беспросветной мглы. Сигизмунд предположил, что это притупление зрения могло возникнуть от истоще-

ния, но не у всех. Я же вспомнил, что такое у меня уже случалось раньше – мне пришлось идти, держась за спину товарища, но всё-таки я хорошо видел светящиеся вывески и таблички с названиями улиц. Особенно ярко светилась надпись «Luftschutzraum» – «бомбоубежище» по-немецки.

Когда нас выпускали из лагеря, Янсон и полицаи строго предупредили, что в кинотеатры нам вход запрещён и на трамваях ездить нельзя. Но мы решили рискнуть. Время было слишком драгоценно, чтобы тратить его на длинный путь обратно пешком, да и любопытство одолело – хотелось прокатиться на немецком трамвае, посмотреть, как это выглядит.

7 декабря 1942 года

Мы очень боялись, что с нашивками «OST» нас выгонят из трамвая. Как только вошли, остались стоять на площадке, готовые в любой момент быстро соскочить. Людей в вагоне было немного. Кондуктор подошёл, молча продал билеты, даже особо не разглядывая нас. Мы немного приободрились, появилась надежда, что доедем без происшествий. За окнами царила непроглядная тьма, и, не имея возможности смотреть наружу, мы украдкой рассматривали пассажиров, стараясь не встречаться взглядами с редкими попутчиками.

Недалеко от двери сидела молодая немка, а между её коленями стоял мальчик лет четырёх. Оба выглядели миловидно и прилично одеты. Мальчик, полуобернувшись, смотрел на нас и что-то шептал своей матери. Вдруг он резко повернулся к нам с удивительно серьёзным, даже суровым, не по-детски строгим выражением лица. Сжав кулачок, он шагнул вперёд, потряс им в нашу сторону и, не говоря ни слова, плюнул. Испугавшись того, что сделал, он моментально повернулся обратно и прижался к маме.

Вот как травят детские души. В Германии, как и у нас пионерия, есть организация гитлеровской молодёжи – гитлерюгенд. Мы уже видели их в форме, с кортиками на поясах.

Недавно на завод привезли французов. Их тоже привезли принудительно, но условия у них совсем другие: никакой колючей проволоки, никаких полицаев. Они питаются в немецкой столовой и получают посылки из дома. Для них даже построили отдельный барак, рядом с нашим. Вместе со своей жизнерадостностью французы привезли с собой и целую кучу порнографических открыток и фотографий. Для нас это всё было в новинку, и, хотя увидеть хотелось, смотреть было неловко и даже стыдно.

В нашем цеху работают три француза, один из которых – Андре. Он красивый, весёлый парень из Нанси, очень общительный. Мы пытаемся говорить друг с другом на немецком, которого оба не знаем, но жестикунция и русские слова, родственные французским, помогают нам лучше понимать друг друга. За несколько дней я уже успел запомнить много французских слов. Интересно, что и французы, как немцы, с первых шагов изучения русского языка сразу интересуются матом. Неужели наш русский мат настолько прославлен по всему миру?

Андре рассказывает о своей родине с неподдельной теплотой. Он был сильно удивлён, когда узнал от меня, что в Советском Союзе образование бесплатное, что студентам платят стипендию и предоставляют общежитие. Другой француз, Рауль, был настолько впечатлён, что заявил, что после войны непременно уедет в Советский Союз. Значит, он верит в нашу победу!

Когда зашёл разговор о еде, я рассказал, как нас однажды кормили в немецком ресторане отвратительными улитками. Андре засмеялся и сказал, что немцы просто не умеют готовить улиток, а во Франции я бы просто пальчики облизывал. Французы удивились, что у нас улитки не едят, и были ещё больше поражены, узнав, что и лягушек мы не употребляем в пищу.

Сегодня в цехе произошёл неприятный случай: Кенер, наш мастер, жестоко избил Ивана Подгорелого за то, что тот медленно красил керны. У Ивана часто болит живот, и, страдая от боли, он огрызнулся: «Ты сам должен работать». Кенер тут же бросился на него с кулаками. Это ужасно, что мы не можем дать сдачи. Иван – человек молчаливый, ходит чуть сутулясь, с постоянной ненавистью ко всем немцам, которую он даже не пытается скрыть. И из-за этого постоянно попадает под удары.

Сегодня Макаров получил открытку из Харькова. А моя мама по-прежнему молчит. Наверное, её уже нет в живых... Страшно так думать, но ещё страшнее не знать. Она могла умереть от голода или её могли убить немцы. Я каждый день жду весточку, надеюсь, что она жива. Я просыпаюсь с мыслями о ней и мучаюсь весь день. Боже мой, как тяжела эта неизвестность!

9 декабря 1942 года

Сигизмунд по-прежнему работает на складе и сегодня с ним произошла ужасная история. Он ездил с немцами на другой завод за материалами, и на обратном пути, когда остановились у магазина (один из немцев захотел что-то купить) Сигизмунд решил отлучиться на пять минут. Однако немцы, не дождавшись его, просто уехали.

Когда он добрался обратно в лагерь, рабочий день уже закончился. Как только Сигизмунд вошёл, его сразу же избили, и два полиция повезли его в концлагерь. Янсон не упустил возможность запугать всех остальных: во время ужина в столовой он публично объявил об этом, чтобы остальные знали, что будет, если осмелятся хоть на что-то похожее.

Еду у нас теперь готовят на лагерьной кухне, которая расположена рядом со столовой. Повар – высокий, долговязый рыжий немец, который выглядит достаточно старым. На кухне работают наши девчата, а на выдаче пищи теперь стоит бойкая пожилая женщина, добродушная тётя Мария, которую все называют Марией-поварихой. Те, кто постарше, в шутку говорят ей: «Ух ты, кормилица наша, родная!» Кажется, что с её появлением качество еды немного улучшилось. Сегодня, например, второй раз за последнее время дали по щепотке сахара. И по утрам теперь варят кофе-эрзац, который раздают в столовой. Пусть это и не настоящая еда, но всё же стало немного легче.

Первого декабря отправили большую партию больных в госпиталь, но сегодня одна девушка вернулась назад. Её история ужасает. Она рассказала, что в госпитале условия просто невыносимые: нет врачей, никакого лечения, а холод стоит такой, что костенеют руки. При поступлении единственный врач осматривает больных, чтобы определить стадию болезни, и распределяет их по баракам. У неё туберкулёз не подтвердился, и её вернули в лагерь. Но она успела там насмотреться и послушаться, теперь считает сегодняшний день своим вторым рождением, потому что удалось избежать смерти.

Мёртвых в лагере вывозят каждый день – по несколько десятков. Это делает специальная команда из тех, кто тоже болен, но соглашается на эту работу ради дополнительного питания. Мертвецов просто сбрасывают в яму, заливают чем-то, а потом закапывают. Когда одна яма заполняется, открывают новую, и так продолжается день за днём.

Сегодня пришло несколько писем из Полтавской области. Люди пишут, что немцы отбирают у жителей деревень буквально всё съестное до последней крошки. Поэтому крестьяне прячут продукты, как могут, закапывают их под землю, пытаются сохранить хоть что-то.

На заводе всё без изменений: мы продолжаем делать по 45 кернов. Мастер буквально не даёт нам передохнуть, постоянно стоит над нами, требуя больше. Но самым страшным остаётся герр Лендер, главный инженер завода. Он пока никого не бьёт, но его свирепый взгляд и постоянное давление делают своё дело.

Он, как никто другой, понимает, что мы способны делать больше, и это доводит до изнеможения. Кожа на ладонях у нас у всех уже огрубела от прута, которым мы набиваем состав в формы. Особенно болит между пальцами – там кожа трескается и кровоточит. Немцы этим не страдают, потому что регулярно смазывают руки кремом. Карл иногда даёт нам немного крема, но этого недостаточно. Я прошу его достать нам ещё, хотя понимаю, что это не решит всех проблем.

15 декабря 1942 года

Лагерь, наконец, достроили. Появилась душевая с туалетом, и теперь не будет этих бесконечных очередей, особенно для девчат. У нашего барака появились две пристройки, а старую

часть разделили на комнаты с отдельными выходами, как это уже сделали в других бараках. Теперь в каждой комнате по восемь нар и у нас, и у девчат.

Говорят, что скоро поставят печки, но пока всё равно очень холодно. Во время распределения комнат мы хотели оставить место для Сигизмунда, но надзиратели запретили, сказали, что он уже не вернётся. Я не могу в это поверить и даже думать об этом страшно. Пусть хоть в другой комнате, но только бы он вернулся.

Концлагерь

16 декабря 1942 года

Вчера вечером я долго не мог уснуть, мучаясь от мысли: «А вдруг полицаи сказали правду, и Сигизмунд действительно не вернётся?» Эти сомнения не давали покоя. Но к счастью, всё оказалось ложью. Сегодня перед самым обедом приехал Сигизмунд. Как же он теперь выглядит! Даже раньше, когда был сильно истощён, он казался живым, а теперь на него просто страшно смотреть – тень человека.

Туда его увезли двое на машине, а обратно он вернулся один, на трамвае. Сигизмунд рассказал, что концлагерь – это место, где люди делятся на тех, кто уничтожает, и тех, кого уничтожают. Он сказал, что там каждый день – это игра на выживание, где слабые погибают первыми, а сильные борются за каждый новый день.

Настоящее знакомство с этим адом началось на следующий день. Привезли на грузовике французов. Их выгнали из машины плетьюми и построили у рва с водой. Затем велели всем присесть на корточки и начали заставлять прыгать вокруг рва. Тех, кто не мог или падал, били плетью, а затем, если они уже не могли подняться, бросали в ров. Первый человек, который пал от усталости, больше не встал. Его избивали до тех пор, пока он не перестал двигаться. Когда другой отказался выполнять приказ и поднимать упавшего товарища, его застрелили на месте.

Эта сцена была настолько ужасной, что Сигизмунд долго не мог поверить своим глазам. Он говорил, что не может понять, как человек может так беспощадно относиться к другому. Через какое-то время все французы были мертвы и лежали в рву. Утром остальных заключённых заставили извлечь тела и отвезти их в общую яму.

Каждое утро в лагере начинается с построения на проверку, независимо от погоды. Если ты остаёшься в лагере, то подвергаешься жестоким издевательствам надзирателей, большинство из которых – поляки. Они не дают заключённым шансов на отдых: каждый удар их плётки приближает тебя к смерти. Одного из самых свирепых надзирателей зовут «Молотов», но никто не знает, откуда взялась эта кличка.

Особенно тяжёлыми были воскресенья, которые надзиратели называли «санитарными днями». Весь день заключённых заставляли бегать с матрасами на голове вдоль забора, а на каждом углу стояли надзиратели с плетью, подгоняя тех, кто не успевал. Сигизмунд сказал, что даже неделя в таком месте способна уничтожить человека – физически и морально.

После того, что рассказал Сигизмунд, я на мгновение подумал: «Может, стоит самому увидеть это всё, чтобы понять до конца?» Но он сразу ответил, что лучше никогда не попадать туда. Он рассказал про лорда Байрона, который попросил запереть себя в венецианской тюрьме, чтобы испытать ужас заключения, и потом долго не мог прийти в себя.

Мы все сильно жалеем, что Сигизмунд теперь будет жить в другой комнате. Никто не хочет с ним меняться, а он опоздал на заселение всего на один день.

17 декабря 1942 года

Я считаю организацию диверсий слишком опасной. В условиях, когда над нами постоянно нависает угроза террора, при полном произволе, любое неосторожное действие может обернуться смертью – нас уничтожат, прежде чем мы успеем хоть что-то сделать. Саботажник должен быть осторожен и действовать так, чтобы его совесть была чиста перед самим собой. Для того чтобы нанести существенный вред и при этом подвергаться меньшему риску, нужно быть более профессиональным, разбираться в технологических процессах, знать слабые места.

Однажды я наблюдал, как мастер подвёл ригель с кернами к контрольному пункту и допустил небольшую ошибку при опускании – ригель соскользнул с тележки. В результате этого у большинства кернов лопнули шейки – тонкий участок перехода между стержнем и его знаком. Такие керны выбраковывают, они становятся непригодными для литья. После этого слу-

чая я стал использовать эту ошибку в качестве примера для небольшого саботажа. Когда представляется возможность, я повторяю эту «операцию». Чтобы не возникло подозрений, я придумал разные способы. Например, ставлю камень под одну из опор ригеля, а затем, когда ригель опускается, выбиваю камень, из-за чего часть шеек ломается.

Есть и другой способ. Ригели с кернами после окраски графитом и сушки помещают в старые сушильные камеры для охлаждения. Там нет освещения, и я пользуюсь этим. Прохожу до конца камеры, где темно, и проверяю, нет ли поблизости кого-нибудь. Вход хорошо просматривается благодаря освещению, поэтому, если никто не идёт, я беру керн одной рукой, а другой – знак, и слегка сворачиваю их. Это создаёт небольшую трещину на шейке. Если мастер при контроле заметит трещину, керн выбрасывают. Но если не заметит – во время заливки керн всплывает, и изделие оказывается бракованным.

О всём этом знает только один человек – Миша «Кардинал», мой наставник и вдохновитель. Он постоянно говорит о том, что нужно быть хитрым и осторожным. Лучше сделать меньше, но без риска, потому что, если попадёшься – это конец. Смотря назад, я понимаю, каким я стал: находчивым, осторожным, и не столько смелым, сколько хитрым. Иногда я задаюсь вопросом: не превратит ли нас Германия со временем в подлецов? Миша только смеётся в ответ и говорит: «Мы не подлецы по натуре, а по долгу чести. А ты, что, всерьёз думаешь, что у нас впереди будет „время после Германии“?»

18 декабря 1942 года

Сегодня, после ночной смены, едва успел задремать, как нас разбудил полицейский, требуя немедленно одеться. Костю, Антона и меня отправили в карцеры. Что случилось? В полусонном сознании мелькали лишь одни мысли: «Неужели кто-то снова взломал „крепость“ с гиздопаром?» О кернах я и не думал – казалось, там всё сделано чисто. Когда меня ввели в полицейскую комнату, там были Янсон, три полицейских и Герман.

– Mein lieber Freund, – сказал Янсон, с неестественной улыбкой на лице и звериным огоньком в глазах.

– Du bekommst Geld für die Arbeit? – перевёл Герман. «Ты за работу деньги получаешь?»

– Да, герр Янсон, – ответил я с невинным, простодушным видом, стараясь ничем не выдать себя.

– Bist du zufrieden? – продолжил Янсон, а Герман перевёл: «Ты доволен?»

Я, внутренне напрягаясь, ответил, как велел мне мой здравый смысл: «Скажи, что доволен».

– Говорит, что доволен, – произнёс Герман, бросив на меня быстрый взгляд.

– А вот герр Лендер тобой недоволен, – продолжил Янсон, и слова его, как нож, резали воздух. – Мало делаешь кернов.

Я пытался сохранять самообладание. Как много времени на подумать, когда слово проносится так медленно и растянуто, как в этот момент.

– Я недавно начал работать. Научусь – сделаю больше, – сказал я, с внутренней надеждой, что это убедит их.

– Один ваш человек делает в два раза больше тебя. Ты лентяй, – грохнул Янсон, приближаясь ко мне вплотную. Его лицо было таким близким, что я ощущал каждую каплю его слюны. Он смотрел на меня своим хищным взглядом, который казалось просверливает меня насквозь.

– Зачем ты ломаешь керны?! – рявкнул он неожиданно.

Этот вопрос застал меня врасплох. Я смотрел на Германа в поисках поддержки, но знал, что её не будет.

– Я не ломал никаких кернов, герр Янсон, – проговорил я с дрожью в голосе, не теряя своего простодушного вида.

– Лжешь! – Янсон снова рявкнул, а затем кулак его резко метнулся в моё лицо. Я упал, оглушённый этим ударом, но вскочил быстрее, чем мог подумать, чтобы не быть избитым ногами.

– Русише швайн, говори правду! Зачем ломаешь керны?!

– Я не ломал, герр Янсон, не ломал, – повторил я, тщетно надеясь, что это прекратит избиение.

Когда он ударил меня снова, я даже не понял, откуда прилетел удар. Всё потемнело перед глазами, а звуки стали приглушёнными.

– Пошёл вон! Если не признаешься – отправим в концлагерь.

Я оказался в темноте карцера и осознал, что никакого страха не испытываю. Это было странно. Я не вспоминал маму, не плакал – ведь меня никогда прежде так не били. Вместо этого я чувствовал лишь ещё большую ненависть и понимание, что они ничего не знают. Если бы знали, то убили бы сразу. Их тактика – просто взять «на пушку». Лицо горело, а пить хотелось невыносимо.

Слышал, как кричали на ребят и, наверное, тоже избивали. В карцере я молился за них, шептал: «Братушки, родненькие, простите меня, я ведь для народа стараюсь». Через некоторое время меня снова повели к Янсону. Он выглядел измождённым, как будто не он меня допрашивал, а я его.

– Почему ты не сказал правду? Ребята оказались умнее тебя и всё рассказали, – перевёл Герман с невозмутимым лицом.

– Герр Янсон, они просто испугались и наговорили вам неправды, – сказал я, понимая, что это ложь с их стороны.

Янсон вскочил с места, словно ужаленный.

– Я знаю, кто ломает керны! Один из них мне сказал, а ты молчишь!

Янсон снова подступил ко мне вплотную, и его слюна, смешанная с гневом, снова полетела мне в лицо.

– Кто?! Говори!

– Я не знаю, герр Янсон. Мы этого не делали. Я уверен в своих товарищах.

Он замахнулся плёткой и ударил меня. Я уворачивался, но плётка всё-таки задела меня по плечу.

– Кто?! – продолжал он с яростью.

– Я не знаю! Мы не ломали, – крикнул я, чувствуя, как боль заполняет моё тело, но не уступает той ненависти, которая кипела внутри.

Янсон, словно выдохшись, сел за стол, но его садистский тон не изменился.

– Говори, кто это, или мы тебя сейчас убьём.

– Я не знаю, герр Янсон, не знаю! Мы не виновны!

– Пошёл вон!

Меня вернули в карцер. И хотя я знал, что саботаж не раскрыт, внутри чувствовал тревогу. Да, я был осторожен, но чем больше людей замешано, тем больше вероятность предательства. Мы неопытны, а они жестоки. Нужно быть ещё хитрее.

Позже меня снова вызвали к Янсону. На этот раз он был спокоен, словно ничего не произошло. Там стоял Антон, а вскоре привели Костю.

– Я убедился, что вы честные люди и что керны вы не ломали, – произнёс Янсон с ненастоящей добротой. – Если увидите кого-то, кто ломает керны, даже если это немцы, скажете мне.

Вот в чём дело! Они подозревают не только нас, но и своих. Значит, у них ничего на нас нет.

19 декабря 1942 года

Был у Павлика, нашего «Портоса». Он по-прежнему твердит своё: надо соблюдать строжайшую осторожность, но вовлекать других людей в наши дела. Конкретно – Костю и Антона. Но зачем? Они и так делают как надо: не дают больше кернов, чем я, несмотря на все угрозы мастера. А вчера мы сговорились каждый четвёртый-пятый керн ставить на ригель так, чтобы он чуть-чуть «упускался», образуя трещины. А то, если не будет брака, то немцы подумают, что мордобой помогает.

Самым страшным врагом я считаю не кого-то из надсмотрщиков, а главного инженера завода – герра Лендера. Этот человек умен, хитёр и опасен. В нём всё – от осанки до взгляда – говорит о непрерывной работе мысли. Он выше среднего роста, спортивного телосложения, с худощавым волевым лицом и жадным, внимательным взглядом, который словно просвечивает каждого из нас. В руках у него всегда блокнот и карандаш, а в кармане – неизменная логарифмическая линейка. Постоянно что-то записывает, прикидывает, считает. Настоящий технарь. Кажется, нет ни одной детали на заводе, которую он не знает лучше, чем мы.

Он умеет делать всё сам, и это внушает уважение несмотря на то, что он наш враг. Я видел, как он снял плащ и, взяв у залищика ковш, показал, как правильно заливать формы. Не ограничился одним примером – залил с полдюжины, потом аккуратно вытер руки платком, надел плащ и пошёл дальше по заводу, словно ничего не случилось. Но на всех в цехе это произвело впечатление. Лендер – опасный противник, и он не только руководит, но и сам участвует в процессе.

Недавно он много времени проводил в нашем цеху, решая, как увеличить производство. И он нашёл способ, не останавливая работу. Талантливый организатор, спору нет. А главное – он никогда не забудет того, что кто-то выполняет меньше нормы. Зацепился за Тимофея, который делает по сто кернов за смену, и теперь требует от всех того же. Меня он назвал саботажником и пригрозил отправить в концлагерь.

А тем временем за нашим забором, между ним и французским бараком, строят огромный ров. Никто не знает, для чего. Это квадратная яма, похожая на опрокинутую пирамиду, а на её дне толстая труба – видимо, для воды. Зачем она – никто не знает, но все смотрят на неё с тревогой. Может быть, это противопожарный бассейн?

Питание стало просто отвратительным. Уже два месяца кормят нас кислой, вонючей капустой. Дед Скобцов шутит, что ворон живёт двести лет, потому что питается падалью. Долго ждали, пока закончится эта мерзость, и вот наконец, вчера съели последнюю порцию. Сегодня на обед дали роскошный суп из брюквы. Настоящий пир для наших измученных желудков.

Карл продолжает помогать нам. Достал крем для рук, и наконец начали затягиваться трещины. Он даже говорил с обер-мастером Лоренцом, чтобы нам крем регулярно выдавали.

А вчера по главной улице, ведущей в центр города, как суслики стояли солдаты через каждые сорок-пятьдесят метров. Карл сказал, что, возможно, Гитлер приезжал во Францию. Хоть бы не вернулся!

20 декабря 1942 года

В огромном зале раздевалки для немцев стоят бесконечные ряды спаренных шкафов с маленькими висячими замками. Придя на завод, немец, отперев замок, распахивает дверцы двух отделений шкафа. В одно отделение вешает чистую одежду, а из другого берёт спецовку. После работы моется, снова одевается и, как пижон, в костюмчике, при галстуке, в пальто с портфелем выходит с завода.

Невозможно отличить обер-мастера от дворника. Нам переодеваться не во что. Но мы были счастливы уже тем, что хорошо помылись. В лагере есть душевая, но тёплая вода бывает только вечером и недолго.

Ради воскресенья, что ли, на обед впервые дали приличное второе, правда, мяса было мало. Немножко картошки, капусты и маленький кусочек мяса. Картошка у них не гнилая, не мёрзлая, но всё же какая-то резиновая, и нет у неё такого картофельного вкуса, как у нашей. Кусочек мяса разбудил до головокружения далекие воспоминания кухаркиного сына.

После обеда дали по пачке польских сигарет «Вретева». Из чего же они сделаны? Из чего угодно, только не из табака. С куревом у нас скудно, как и с пищей. Иногда удаётся раздобыть у немцев. Карл и в этом меня не обижает. Иногда балует изумительными сигаретами «Юно». Сигареты у них разные: лёгкие – ароматные из светлых табаков, средней крепости; нормальные, хорошие – из обыкновенных табаков; и ужасно крепкие – из чёрных табаков, такие, что не каждый может затянуться. А затянувшись, кажется, что верхняя половина тела отделилась от нижней. Сигареты есть тонкие и толстые, длинные и короткие, но хорошие – обязательной эллипсоидной формы. Папирос у них нет.

В три часа нас выпустили из лагеря. Павлик, Володя, Жора и я сначала пошли в лес. Говорили о станке для автоматического изготовления кернов, который установлен у нас в стержневом отделении. Ожидают, что его производительность будет в 5—6 раз выше, чем у человека. Пока, слава Богу, ничего со станком не получается. Варьируют разные земельные составы.

Володя сообщил, что Эрих сдержал слово и принёс вчера небольшой радиоприёмник, который удалось раздобыть. Говорит, что дома пробовал включать, но он не работает. Сумею ли я вдохнуть в него жизнь? Володя спрятал его на чердаке мастерской. Нужно ещё раздобыть провод, чтобы на чердак дать напряжение. Я смогу заниматься приёмником, работая в первую смену, и только в то непродолжительное время, когда немцы закончат работу и уйдут из мастерской, а наше рабочее время ещё не началось.

Из общей массы женщин обращали на себя внимание девчата из Кобеляк, что на Полтавщине. Они и по виду крепче, и одеваются опрятнее, хотя здесь это понятие очень условно. Зина и Надя работают на кранах, Маша в нашем цеху красит графитной краской кокили, в которых отливают снаряды. Вера и Муся в механическом цеху на токарных станках-автоматах обтачивают корпуса снарядов.

Самая заметная среди всех – Вера Андрейко. Природа щедро одарила её мягкими чертами лица, неповторимой женственностью и удивительно приятным голосом. Однако жизнь и те суровые условия, в которых она росла, сделали её иной: грубой, иногда даже резкой, властной и настойчивой, порой доходящей до откровенной вульгарности. Но это только внешняя оболочка. С нами Вера умеет быть совсем другой – нежной, учтивой, обаятельной, словно прячет под броней грубости свою истинную, мягкую натуру.

Мне кажется, что она нравится Володе. Когда разговор заходит о ней, он словно меняется: становится тише, молчаливее и погружён в свои мысли. Казалось бы, Вера кокетничает с ним, как и с другими, но чаще всего проявляет внимание к Павлику. Павлик, со своей стороны, дружелюбен ко всем, в том числе и к Вере, хотя в его поведении нет ничего особенного – он всегда внимателен и открыт. Но вот в душу Веры не так легко проникнуть. Её женская хитрость и гордость стоят на пути, словно высокий забор, за которым она скрывает свои истинные чувства. Она не стремится опровергать слухи о своём интересе к Володе, но и не отвергает внимания Павлика, если такое вдруг проявляется. Выбирает, что ли?

Володя пока со мной об этом ничего не говорил. Что касается женщин, он невероятно скромн. Даже если бы у него возникло серьёзное чувство, я уверен, он не только мне не признался бы, но и себе не позволил бы это признать.

Любоход

После ужина нам разрешили до девяти вечера собираться вместе с девушками в столовой. Эти вечера сразу преобразили наш лагерный быт. Стало легче, веселей, словно луч света прорезал эту бесконечную темноту тягот и страданий. Сначала наши сборища называли просто «посиделками», но кто-то придумал другое название, и оно, как банный лист, прилипло к нам, став неотъемлемой частью нашего лагерного жаргона: «(б) л (юд) оход» или далее – *любоход* (я слегка изменил слово для благозвучия). Хотя это слово довольно грубое, но полюбилось оно всем и мы подразумевали под ним не только просто совместное вечернее времяпровождение, но посиделки с лёгким эротическим флёром, который эти собрания со временем приобрели. И вот уже не только мы, но и девушки с лёгкостью стали использовать его.

Мы садимся за столы: с одной стороны мужчины, с другой – женщины. За каждым столом постепенно складывается своя компания. Новенькие иногда присоединяются, а порой группы перемешиваются. Однако уже с третьего или четвёртого вечера стали появляться пары, которые сели подальше от остальных. О них тут же заговорили, дали каждой паре свой статус. Теперь, когда говорят: «Муся Колькина» или «Коля Мусин», всем ясно, кто с кем.

У немцев скоро Рождество, и в столовой поставили ёлку, которую украшает наша медсестра, пока мы на работе. Праздничная суэта уже чувствуется – даже в нашем лагере. В журнале «На досуге» напечатали молитву, но нам, воспитанным в безбожной среде, она кажется чем-то чуждым. Вернуться к вере человеку, выросшему в атеизме, сложно, для этого нужны либо время, либо большое горе.

На вчерашнем «любоходе» Сигизмунд и Шляхов подготовили для нас сюрприз. Сигизмунд где-то раздобыл мандолину – вероятно, нашёл на расчистке развалин, как и многие другие вещи, что приносил. Вместе со Шляховым они сочинили частушки, и даже нам ничего не сказали, чтобы сделать выступление неожиданным.

Когда в столовой собралась основная масса людей, они попросили внимания и отступили к стене. Сигизмунд начал аккомпанировать на мандолине, а затем они с Шляховым попеременно исполняли частушки. Вот некоторые из них:

*На горе есть сад зелёный,
Что за фрукты! – прямо мёд.
А глядишь: любитель фруктов
Ухватился за живот.*

*По тревоге что случилось?
Ничего не разберёшь.
Нас охрана побросала,
Ну а он даёт бомбёж.*

*Но всё прошло благополучно,
В нас он бомбой не попал.
А ребята из кладовой
Разбомбили гиздопар.*

И это лишь малая часть того, что они пели. Мы, закоченевшие от боли и голода, вдруг ощутили нечто похожее на веселье, на радость. Лишения, побои, холод, голод – всё это на мгновение отступило. Мы забыли, как смеяться, но частушки разбудили в нас тёплый огонёк, и «любоход» ожил, наполнившись смехом.

Но веселье длилось недолго: нас разогнали раньше времени. Вернувшись в барак, Миша сказал, что смех в таких условиях – это свидетельство силы нашего духа. Эти слова застряли в голове, но уснуть было трудно. Я снова думал о маме. Что с ней? Как она там одна, в оккупированном Харькове? Получила ли мою открытку или терзается обо мне, думая, где её единственный сын? Когда вспоминаю о маме, всегда ощущаю её запах – запах молока, который остался у меня с детства. Откуда он? Из ясельной кухни или, может, с тех времён, когда я был младенцем? Вернёмся ли мы когда-нибудь друг к другу, мамочка?

После отбоя в темноте кто-то запел старую песню тихим, обречённым голосом: «Напрасно старушка ждёт сына домой...». Пел он так грустно, что сердце разрывалось. И лишь когда кто-то не выдерживал и с раздражением кричал: «Да замолчи ты, и так на душе тошно!», наступала тишина.

25 декабря 1942 года

Сегодня у нас выходной день. Бывают же на свете чудеса! У немцев начало Рождества. Это же как надо почитать Христа, чтобы во время войны в этот день работу считать недопустимой. Ну, а нас одних на завод не погнали. Вот и отдохнём.

На днях привезли подержанную одежду. Не выпускать же нас в город в лохмотьях или спецовках. Узнали мы об этом от Леньки и Соловья. Они залезли в кладовую и стащили два костюма, переоделись и тогда нам рассказали.

Кто-то выдал их и кара пришла быстро: через пару дней их повели выгружать кокс, один вагон на двоих. Не били, наверное, из-за Рождества. Одевая спецовку, Соловей сказал, что Герман своей смертью не умрёт. Герман, как и многие другие в бараке, их услышал. Не сомневаюсь в том, что он их и выдал. Ребят избили, а костюмы отобрали.

Но порой мне кажется, что в отношении Германа мнение предвзятое. Да, он груб, эгоистичен, ведёт себя вызывающе и надменно, жалости не испытывает ни к кому. Уж какое там милосердие – никогда не выручит, находясь постоянно между немцами и нами, ни разу не выступил в нашу защиту, не вставал даже скрытно на нашу сторону.

Участвуя в допросах, никогда не подсказывал, не помогал вывернуться. Янсону демонстрирует защиту его интересов и своё раболепие, чистит на нём туфли и завязывает шнурки. Для того чтобы выдать ребят, нужно иметь подлую душу, но я пока в его подлости не убеждён. Нужны доказательства. Интуитивно я на стороне ребят.

После обеда был в городе. В ресторане к нам подсел русский эмигрант, который уехал из России в 18-м году. Одиноким, дряхлым старик заговорил: «Всё здесь чужое. Душа не принимает. Имел в Саарбрюккене своё дело, материально был обеспечен, но с первого дня мучился и страдал из-за тоски по родной земле, по России, по своей Родине.

Чувство одиночества на чужбине – самое страшное в жизни. Если останетесь живы, то спешите вернуться домой, как бы вас там не встречали. Я только и чувствовал себя человеком, пока жил в России. Запомните слова Ивана Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись.»» Прощаясь, расплакался. На него жалко было смотреть. Мне показалось, как бессцельно, бессмысленно здесь прошла его жизнь. Всю обратную дорогу в лагерь молчал и думал о нём.

А после ужина Сигизмунд и Шляхов порадовали нас новыми частушками:

*Нас в столовой накормили
Скудными обедами.
Пока ели – сыты были,
Встали все голодными.*

*У барака ворот много,
Все ворота новые.*

*Только плохо: на воротах
Висят замки пудовые.*

*В выходной наши ребята
В город собираются
И на целую неделю
Салатами наедаются.*

*Быков парень удалой,
Парень прямо сокол.
Когда в городе мы были,
Он шесть порций слопал.*

*Нам костюмы привезли,
Часть уже раздали.
Остальные Соловей
С Ленкою украли.*

*Грицко номер сто восьмой
Грязью зарастает.
Мыло, соду получили
И на хлеб меняет.*

*Здесь, друзья, вам не Россия,
Воровству здесь места нет.
Нам германская наука —
Спутник будущих побед.*

Какие молодцы Сигизмунд и Шляхов. Веселье и смех поднимают наш дух, сплачивают нас. На вопрос, как им удалось так быстро подготовить новое выступление, Сигизмунд сказал, что стимулом было то, что их творчество воспламенилось дружной, одобрительной оценкой прошлого выступления.

Ах, как мы истосковались по весёлым человеческим словам. Тяжёлая жизнь создаёт атмосферу обречённости. Мы упрямо верим в выживание и, как несмышлёныши, ждём чуда – скорого окончания кровавой бойни, потому что на большее сил, кажется, не хватит. Знаем и верим, что богатырь отрубит голову дракону, но будет это уже после нас. Поют Сигизмунд и Шляхов – кругом улыбки, но стоит им замолчать, как лица становятся обречёнными.

Питание не восполняет расхода энергии, и люди наши постепенно сходят с дороги жизни. За прошедшие девять месяцев 28 человек из нашего лагеря переехали, как говорят в госпитале, в «могилёвскую губернию». Но жизнь продолжается, и мы даже иногда смеёмся. Жора говорит, что смех после частушек вызвал в памяти слова Ильи Ильфа из его записной книжки: «Жизнерадостные паралитики.»

26 декабря 1942 года

С тех пор как нам стали платить деньги, в лагере процветает карточная игра. Интересно, что деньги-то нам девать некуда – без продуктовых карточек ничего не купишь, но азарт подогревает всех. Какое это проявление молодости! Казалось бы, едва дотягиваем ноги до нар, валимся от усталости, но стоит полежать часок, умыться – и вот уже начинается игра. Немцы, конечно, игру запрещают, карты конфискуют, а пойманных игроков отправляют в карцер.

Поэтому на окне всегда сидит «наблюдатель,» платный дежурный, который за свою службу получает процент от банка.

Домбровского ленинградцы зовут «Павел,» а харьковчане – «Павло». Я, впрочем, зову его по-дружески «Павликом», подчеркивая этим уважение к его природной хитрости и изворотливости. Именно Павлик предложил дерзкий план, связанный с карточной игрой. В лагере появился новый полицай – молодой, добродушный. Кричит на нас только в присутствии Янсона и остальных полицаяев, а когда остаётся один, ведёт себя совсем по-другому. Однажды он застал нас за игрой, и мы сразу перепугались, ожидая карцера. Но полицай только улыбнулся, жестом показал, что нам нечего бояться, и спокойно ушёл. Это натолкнуло Павлика на мысль вовлечь его в игру.

Переговоры поручили Володе. Он самый надёжный из нас, и немцы его уважают, считая его «арийского типа» из-за его внешности – светлые волосы, голубые глаза. Немцы любят, когда их собственные идеи подтверждаются на практике. И, о чудо, Володе удалось! Полицай согласился прийти к нам, когда будет дежурить с напарником, которого он хорошо знает. Мы сперва не поверили Володе, думали, что он шутит, но оказалось, что всё это было на полном серьёзе. Посмотрим, что из этого выйдет.

Интересно, что у немцев всё сводится к вопросам жадности и бережливости. Карл рассказывал, что по воскресеньям они часами сидят в ресторанах за пивом и картами. Пьют по два-три бокала пива и играют, выигрывая и проигрывая по 30—50 пфеннигов – радость или огорчение на всю неделю. Это как будто ритуал – ничего серьёзного, но обязательное развлечение.

Вечером Павлик вновь рассказывал о своей безответной любви к красавице-соседке. По его словам, он из-за неё чуть не застрелился. Мы слушали его, но, честно сказать, верили во всё, кроме того, что он «чуть не застрелился.» Иван Мельник подколот его: «Ну, наверное, просто пистолета не было под рукой!» Все засмеялись, включая самого Павлика.

27 декабря 1942 года

Сегодня в городе мы встретили ребят из другого лагеря. Их положение ничем не лучше нашего. Один из них, парень с уставшими глазами, сказал: «Работать заставляют до изнеможения, а кормят хуже, чем собак». Слова эти, хотя и звучат привычно, застряли в голове – насколько же одинаково тяжело везде. Павел договорился с ними встретиться на следующее воскресенье и пойти к ним в лагерь. Мы все знаем, что, несмотря на общий ужас, любая связь между лагерями может быть полезной.

А вечером у нас состоялась долгожданная игра в карты с тем самым молодым полицаем. Человек он, безусловно, добрый, но трусливый до невозможности. Видимо, боится не только начальства, но и собственной тени. На этот раз мы поставили на «шухер» двоих вместо одного, так как каждый шорох или движение превращалось для нашего полицая в опасность. Мы играли нарочно так, чтобы он выигрывал, но и это ему не сильно помогло. Из-за своей осторожности он очень медленно выигрывал, проверяя каждый ход по два раза. За полтора часа он выиграл всего четыре марки, но при этом был счастлив, как ребёнок, словно эти деньги могли хоть как-то изменить его судьбу. Смешно и грустно одновременно наблюдать за таким человеком: по сути, он один из нас, живёт в таком же страхе и голоде, только с другой стороны колючей проволоки.

28 декабря 1942 года

Эта неделя снова в ночную смену, и всё становится труднее. Особенно плохо то, что заниматься приёмником можно только в узкий промежуток – с четырёх до шести вечера, когда Володя один в мастерской. В остальное время – мастерская постоянно под присмотром. Недостаток гиздопара сказывается всё сильнее, как бы мы ни ухищрялись. Даже с песком уже не достать, а теперь его ещё и опрыскивают керосином, превращая то, что раньше спасало, в совершенно несъедобное.

Но ночью у ребят случилась удача. Они поставили железнодорожный домкрат под нижнюю петлю дверей кладовой и сорвали дверь с петель. Унесли два мешка муки, и мы тоже успели взять один. Спрятали его в канализационном колодце. Это было непросто: скобы идут вдоль стенки от люка до самого низа, и мы закрепили доску за верхнюю скобу, чтобы положить на неё мешок. Поток воды внизу бурлит метрах в шести от нас – важно было всё рассчитать, чтобы мука не утонула. Раньше мы прятали на модельном складе, но немцы случайно наткнулись, устроили засаду, поймали Николая и сильно избили. Теперь приходится быть осторожнее.

С каждым днём риск растёт, но и голод толкает нас на всё более отчаянные шаги.

29 декабря 1942 года

Утро выдалось тревожным. Немцы, обнаружив взломанную дверь кладовой, обезумели от ярости. Доктор Брикман, тот самый, которого я всегда презрительно называл «интеллигентной сволочью с фашистским значком», носился перед нами, размахивал пистолетом и захлёбывался от крика и слюны. Это зрелище было бы даже смешным, если бы не острота ситуации. Вызвали собак из городской полиции. Долго водили их по всему лагерю, пытаясь отыскать муку, но безрезультатно.

Когда всех пятнадцать человек, работавших в ночную смену, выстроили около полиции, нас случайно увидел Карл, который задержался на заводе. Он зашёл к Янсону и, видимо, сказал, что трое из задержанных, включая меня, Костю и Антона, всё время были с ним. В каком-то смысле это правда – мы действительно были с Карлом, но не без его участия скрыли муку. Именно он предложил спрятать мешки в канализационный колодец и даже помог это сделать. Благодаря Карлу нас отпустили. Янсон нас выпустил, а допрос закончился на удивление удачно – ничего не выяснили, да и побои были на этот раз не слишком сильными.

Пока шёл допрос, с небес начал падать первый снег. Он едва припорошил землю, как тонкая вуаль, едва заметная, но уже намекающая на приближение зимы. Соловей (или, как его на самом деле зовут, Соловьёв) поделился своей историей, о которой до войны, по его словам, знал весь Харьков. Речь шла о том, как он, будучи студентом, получил ножевое ранение в груди во время драки у общежития «Титан» на Пушкинской. Его спасли врачи, но хирург, проводивший операцию, сказал, что, если бы нож сразу вытащили, Соловей бы скончался на месте. Чтобы доказать свои слова, он снял сорочку, и перед нами открылся ужасный рубец, словно его перерезали пополам.

В газете я наткнулся на стихотворение, написанное девушкой из лагеря, похожего на наш. Стихи задели меня за живое:

*Гладь дороги прямо разве узкая?
Так зачем же идти стороной?
Почему же ты, девушка русская,
Хочешь стать непременно иной?*

*Ты пришла из России снежной,
Так зачем же любить чужака?
Хоть ласкает тебя очень нежно,
Но ему всё же ты не близка.*

*Ну зачем же ты лезешь из кожи,
Чтоб закрыться чужой скорлупой?
Хочешь быть на себя не похожей
И становишься прямо смешной.*

*Всё своё, всё хорошее вынута
Из души, и с головой пустой
Среди них как своя ты не принята
И для нас тоже стала чужой.*

Эти строки красивы, но мне кажется, что они не отражают всей правды. Любовь ведь не знает границ – ни национальных, ни возрастных. Она способна соединить самых разных людей в минуты и радости, и страдания. Для любви не существует преград, и даже смерть не всегда может её победить.

Тем временем, среди немцев начались разговоры о всё растущих потерях на фронте. Обещанный блицкриг не состоялся.

Блицкриг (Blitzkrieg – «молниеносная война») – стратегия ведения скоротечной манёвренной войны, нацеленная на достижение военной победы в максимально сжатые и короткие сроки, исчисляемые днями, неделями, или максимум месяцами, до того, как противник сумеет отмотилизовать и развернуть свои основные военные силы и экономику. Также важной составной частью блицкрига является окружение больших соединений вражеских сил в «котлы», дробление и уничтожение их по частям.

Это уже не Европа, покорённая за несколько месяцев, – это «дикая Азия», как они её называют, и с каждым днём осознание того, что война затягивается, проникает всё глубже в их умы.

Листая свой дневник за последние дни, я почувствовал разочарование. Мои записи кажутся мне незавершёнными, бедными на мысли и описания. Я оправдываюсь перед собой усталостью – каждый вечер, возвращаясь с работы, едва волочу ноги. Но всё же каждый раз заставляю себя писать. И это помогает мне не только упорядочить мысли, но и морально поддерживать, даёт силы двигаться вперёд. Также, как и мои друзья.

Я наблюдаю за тем, как голод и боль глушат наши мечты, превращая нас в бледные тени. Но даже здесь, среди криков и унижений, есть что-то светлое: редкие взгляды понимания, нужные слова поддержки. Эти мгновения напоминают, что мы всё ещё люди, что внутри нас есть что-то, что не могут отнять ни палки охранников, ни голод, ни холод. В этом мире боли только вера в друг друга позволяет не пасть духом.

Период с сентября 1942 по 1 января 1943 года стал решающим для Советского Союза. Самым значимым событием этого периода стала Сталинградская битва, которая достигла кульминации осенью 1942 года и вскоре ознаменовалась решительной победой Красной Армии. 19 ноября 1942 года советские войска начали масштабное наступление. В результате успешных действий Красной армии к концу ноября около 330 тысяч немецких и союзных войск под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса оказались в полном окружении в районе Сталинграда и сдались. Немецкая армия потеряла более 800 000 солдат убитыми, ранеными и пленными, а также значительное количество техники и вооружения. Советская армия также понесла большие потери – 1 100 000 солдат, но смогла удержать стратегическую инициативу. Большая группировка немцев на Кавказе оказалась под угрозой окружения. Бакинской и Грозненской нефти Германия так и не получила. Поражение в Сталинграде стало серьезным ударом по моральному духу немецкой армии и гражданского населения. Победа Красной армии вдохновила солдат, население страны и союзников. Поток техники, продовольствия по ленд-лизу в Советский Союз резко возрос.

Трещины в монолите

1 января 1943 года, пятница — 1 июля 1943 года

Завод стоит – у немцев праздник. Мы все немного нервничали, думали, что они могут придумать для нас работу, несмотря на их праздники. Но, к нашему удивлению, обошлось спокойно. От нашего «доброго» полиция узнали, что в город сегодня нас не пустят. После обеда несколько ребят, недолго думая, перелезли через проволоку и направились в город, надеясь на удачу. Часа через полтора нас выстроили на проверку, и стало ясно, что кто-то донёс. Кто же? В полицейскую комнату заходил только Герман. Когда зашёл разговор о том, что это его работа, Виктор Егунов, который с Германом в одной комнате живёт, сказал, что Герман всё время лежал с грелкой. Миша тут же взвился: «Вы с ним уже снюхались?» Лишь возраст Миши удержал от того, чтобы началась драка.

На прошлой неделе был громкий разговор у немцев. Приехал к одному из них брат с фронта, и тот рассказал, что партизаны громят немецкие войска, уничтожают тысячи солдат и технику. Немцы, конечно, возмущаются – как же так, воевать «не по правилам»!

– Так воевать нельзя, – Карл недовольно кивает, заканчивая рассказ.

– Конечно, – отвечаю я, – гораздо лучше вторгнуться в чужую страну, убивать беззащитных стариков, детей, женщин, грабить, жечь, угонять молодёжь на каторжные работы.

Карл задумывается.

– Алекс, для войны есть фронт.

– А ваши самолёты ещё до всякого фронта бомбили наши мирные города.

– Если убивают мирное население, так это расплата за партизан.

– Ты, Карл, меньше слушай доктора Геббельса. Фашисты считают людьми только немцев.

Карл качает головой.

– Это неправда, Гитлер хочет создать хорошую жизнь для всех.

Я не выдерживаю, голос мой звучит резко:

– Гитлер ещё до войны начал уничтожать людей. Он устроил концлагеря, начал истреблять евреев, расстреливал, кастрировал.

Карл с вызовом смотрит на меня:

– Ты наслушался своей пропаганды, Алекс.

– Мой милый Карл, Гитлер – зверь. Он уничтожает и наших, и ваших. В России ему будет капут, увидишь.

Карл вздыхает, но всё же улыбается.

– Ах, Алекс, Алекс, ты, как всегда, категоричен. Но Гитлер – это сила. Ну, в крайнем случае, он заключит мир.

– Гитлер не сила, а авантюрист, – отвечаю я твёрдо. – Мира не будет, пока его не уничтожат. Когда началась война, у нас появился плакат, на котором Гитлер свинячьей мордой разрывает пакт о ненападении.

Карл смеётся и достаёт из портфеля журнал «Arbeitertum»:

– Вот, смотри, у нас своя пропаганда. – Он показывает на рисунок, где немецкий солдат, шагая обратно в Германию, держит торт с надписью «Украина».

Я тоже смеюсь:

– Цыплят по осени считают, Карл!

Он смеётся в ответ и убирает журнал в портфель, и на мгновение мы оба забываем о том, что нас разделяет.

Будни невольника

2 января 1943 года

Год начался неожиданно удачно. Утром, при очередной заливке, которой руководил сам обер-мастер Лоренц, у двух ковшей отказали летки – не закрылись, как полагается. Лоренц пытался исправить ситуацию, даже ставил ковши на землю, но всё было тщетно: двадцать тонн раскалённого металла вылилось прямо на землю. Подобное случалось раньше, но редко, а тут сразу два ковша, как по заказу. Невольно возникает мысль: а может, это кто-то из наших поставился?

На это зрелище сбежались все из цеха, словно на какой-то новогодний фейерверк. Коля Беспорточный, весёлый и добродушный парень, но трусливый до безобразия, дрожал в своей крановой кабине. Он всегда поднимает всем настроение, но стоит появиться Лоренцу – и Коля белеет, как полотно. И есть от чего: Лоренц известен своими вспышками ярости. Этот человек – суший дьявол: он не раз швырял в Николая тяжёлые предметы и избивал наших ребят металлической трубой от керна, пока она не сгибалась. Его удары – всегда жестокие и безжалостные, а наказания непредсказуемы. Лоренц – это воплощённый страх для многих в нашем лагере.

3 января 1943 года

Карл продолжает удивлять нас своим постоянством. Вроде бы небольшая добавка к нашему питанию, но по калорийности она, вероятно, превосходит наш основной рацион. Во всяком случае, когда Карл болеет или уходит в отпуск, мы гораздо сильнее ощущаем голод. Убеждён, что, если не было такой помощи, я уже давно бы не выдержал.

Сегодня Карл принёс по два больших куса пирога с кремом, поздравил нас с Новым годом. Антон постоянно беспокоится из-за моих споров с Карлом. Он переживает, что Карл может обидеться и прекратить свою помощь. Но я не разделяю этих страхов. В основе Карловых поступков лежит, конечно, милосердие, но и наши скромные финансовые вливания, которые ему помогают: мы отдаём часть зарплаты, и в последнее время эта сумма увеличилась с 6—7 марок до 13—17 марок в месяц. Спор, как мне кажется, не должен стать преградой.

В столовой появился новый приказ от Янсона: за то, что несколько ребят самовольно ушли из лагеря 1 января, нас лишили выходных и мясных продуктов на весь январь. Стараются нас сстроить друг с другом, но ничего у них не выйдет – никто не подумает винить тех ребят. А что касается «мясных продуктов» – это издевательская формулировка. Этот «мясной продукт» – маленький кусочек колбасы, размером с половину спичечного коробка, да и та едва напоминает ливерную.

Сегодня за обедом кто-то умудрился получить две порции, и Янсон тут же оставил их без ужина. Чёрт с ним, но как он узнал? Всё чаще думается о предателе среди нас, но не хочется в это верить. Герман, конечно, вряд ли стал бы размениваться на такие мелочи, так что сомнения остаются.

4 января 1943 года

Вечером я снова возился с приёмником на чердаке мастерской. Ничего не получается. Вроде всё целое, а работать не хочет. Приёмник старый, двухламповый, с наушниками. Вторая лампа цела, выпрямительная. Скорее всего, основная лампа уже выработалась. Володя обещал попросить Эриха принести новую. Но пока ситуация остаётся без изменений.

На заводской доске объявлений появился приказ, запрещающий немецким рабочим разговаривать с русскими. Что-то случилось, но никто толком не знает, что именно.

Питание всё хуже и хуже. Сегодня Карл, как обычно, попросил у Беспалого гиздопар, и мы с Володей как следует подкрепились. Но мысли о еде не отпускают ни на минуту. О чём бы

ни начался разговор, он непременно сводится к еде. Каждый рассказывает о том, как питался до войны, о любимых блюдах, о том, какой вкусной была еда.

Уже много открыток пришло из Харькова, но от мамы всё ни слуху, ни духу. Почему ты молчишь, мама?

Карл поделился новостью, что Ленинград, который находится в блокаде, сейчас не бомбят и не обстреливают, потому что там находятся свыше двух тысяч немецких пленных. Молодцы ленинградцы! Пусть немцы сами кормят своих.

5 января 1943 года

Карл снова достал немного гиздопара, но как добыть его достаточно для всех? Люк на крыше кладовой замуровали, дверь теперь гладкая, петли внутри. Взорвать кладовую нечем. Достать бы слепки с ключей, но Беспалый никогда не расстанется с ними.

На заводе огромное внимание уделяют технике безопасности. По всему цеху развешаны плакаты, особенно жуткие – в механическом отделении. Там на плакатах изображены женщины с разодранными кожей и волосами, которые слишком близко подошли к сверлильным станкам. Плакаты эти – настоящая выставка ужасов, от которых надолго запоминаются правила безопасности. Для тех, у кого слабые нервы, эта «галерея» – настоящая пытка.

Плакаты на тему экономии встречаются повсюду. Лаконичные надписи «Sparen» – «Экономим» – напоминают о бережливости. На одном плакате рабочий с маслёнкой, из которой капает масло, лениво смотрит на плакат, где изображена такая же сцена, повторяющаяся бесконечно.

Карл рассказал печальную и одновременно ироничную историю: с мостового крана упал крупный гвоздь и убил инженера по технике безопасности, который проходил мимо.

6 января 1943 года

Похоже, я брошу писать. Голод и усталость одолевают, не оставляя сил для дневника. Держусь только благодаря Сигизмунду. Но мои записи – это жалкая писанина. Сигизмунд же, как всегда, удивляет своим мастерством: он читает свои записи вслух, и все слушают с огромным удовольствием. Больше всех восхищён Иван Мельник.

Поражает, как Сигизмунд умудряется выделять важные детали, которые ускользают от моего внимания. Он черпает свои силы будто бы из другого мира. Если не пишет – рисует. А я едва передвигаю ноги и чувствую, что готов сдаться. Без гиздопара всё кажется невозможным. С ним хоть как-то держимся, а без него – совсем пропадём. Если не достанем слепки с ключей, наш конец близок.

7 января 1943 года

Невероятное везение: Жоре удалось сделать оттиск одного ключа. Мы сразу передали его ребятам из инструментального цеха. Кто сделал слепок, и кто изготовит ключ, никто не знает.

Матрос из соседней комнаты, работающий на внутризаводском транспорте, на самом деле вовсе не матрос, а Иван Григорьев из Харькова, и прозвище своё получил за тельняшку, с которой старается не расставаться. Он тоже перелезает через проволоку, а дальше действует так: наблюдает за колбасным магазином через улицу и заходит, когда в магазине нет покупателей (что здесь случается редко), а хозяин уходит во внутренние комнаты по своим делам. Матрос переходит улицу, входит в магазин, где на входной двери звонит колокольчик, и пока хозяин выходит на звонок, успевает взять с полки колбасу и сигареты. Прячет их под пиджак. Хозяин без продовольственных карточек не продаёт и просит его уйти. Матрос уходит, унося свою добычу.

Он так ходит раз в неделю в один и тот же магазин, но по-переменно: то, когда хозяйка стоит за прилавком, то когда хозяин. «Буду, – говорит Матрос, – ходить, пока не попадусь.»

8 января 1943 года

Снова возился с приёмником, но пока всё безуспешно. Эрих пока ничего не обещает насчёт новой лампы. Мы с ребятами думаем, что, если удастся поймать Москву, нужно

будет начать выпускать листовки. Миша предложил делать шрифты вручную. Володя пообещал достать свинец и изготовить инструменты для резки.

По заводу ходят слухи, что немцы отступают по всем фронтам. Грицько Сто Восьмой говорит: «Ну вот и начали немцы своё драпать обратно домой».

9 января 1943 года

Карл наконец купил блокнот. Я испытываю к нему самые тёплые чувства. Он относится ко мне как к родному, и мне кажется, что, если бы моя мама узнала о нём, она бы молилась за него.

Говорят, в районе Ленинграда наши высадили большой десант в немецкий тыл. По всему видно, что наши в последнее время сильно активизировались.

В январе 1943 года Красная Армия провела крупную десантную операцию под Ленинградом с целью прорыва блокады города и отвлечения немецких сил. В ночь с 4 на 5 января был высажен морской десант численностью около 8 000 человек в районе Ладожского озера, у посёлка Невская Дубровка.

Десантники должны были ударить по немецким позициям с тыла, однако из-за плохой подготовки, отсутствия поддержки и сильного сопротивления со стороны противника операция закончилась неудачей. Большинство десантников погибло или попало в плен, и цель операции по прорыву блокады не была достигнута, но значительные силы немцев были отвлечены от направления главного удара.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.